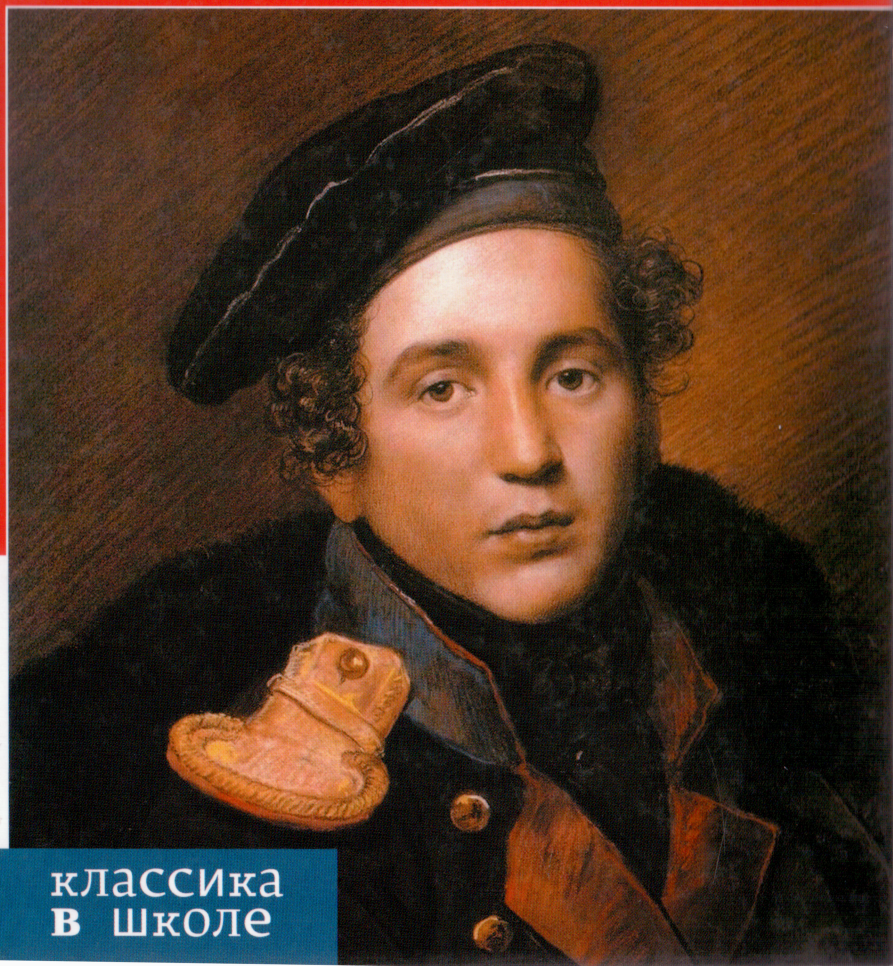


827.16 = 4  
^ 49

# Михаил Лермонтов

Герой нашего  
времени



классика  
в школе



**классика  
в школе**

Михаил Юрьевич  
**Лермонтов**

Герой нашего  
времени

Москва



2018

ДН

**УДК 821.161.1-31**  
**ББК 84(2Рос=Рус)1-44**  
**Л49**

**Оформление серии *О. Горбовской***

**Лермонтов, Михаил Юрьевич.**

**Л49** Герой нашего времени / Михаил Лермонтов. —  
Москва : Эксмо, 2018. — 320 с. — (Классика в школе).

**ISBN 978-5-699-72936-4**

Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включены роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», а также одноименная статья В. Г. Белинского, которые изучают в старших классах.

**УДК 821.161.1-31**  
**ББК 84(2Рос=Рус)1-44**

**ISBN 978-5-699-72936-4**

© Оформление.  
ООО «Издательство «Эксмо», 2018

Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападков, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шуток, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность изобрела оружие более острое, почти невидимое и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы.

Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно

обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избежит упрека в покушении на оскорбление личности!

Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..

Вы скажете, что нравственность от этого не выигрывает? Извините. Довольно людей кормили сладкими; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины. Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества! Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает и, к его и вашему несчастью, слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж Бог знает!

# ЧАСТЬ I

I

## БЭЛА

**Я** ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми листками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел.

Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обнесанные зеленым плющом и увенчанные купами кипар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, и там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглоу ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею.

Подъехав к подошве Койшаурской горы, мы остановились возле духана. Тут толпилось шумно десятка два грузин и горцев; поблизости караван верблюдов остановился для ночлега. Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую

гору, потому что была уже осень и гололедица, — а эта гора имеет около двух верст длины.

Нечего делать, я нанял шесть быков и нескольких осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком.

За мою тележку четверка быков тащила другую, как ни в чем не бывало, несмотря на то, что она была доверху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился; он молча отвечал мне на поклон и пустил огромный клуб дыма.

— Мы с вами попутчики, кажется?

Он молча опять поклонился.

— Вы, верно, едете в Ставрополь?

— Так-с точно... с казенными вещами.

— Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою, пустую, шесть скотов едва подвигают с помощью этих осетин?

Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня.

— Вы, верно, недавно на Кавказе?

— С год, — отвечал я.

Он улыбнулся вторично.

— А что ж?

— Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их разбе-



рет, что они кричат? Быки-то их понимают; запрятите хоть двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки всё ни с места... Ужасные плуты! А что с них возьмешь?.. Любят деньги драть с проезжающих... Избаловали мошенников! Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут!

— А вы давно здесь служите?

— Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче<sup>1</sup>, — отвечал он, приосанившись. — Когда он приехал на Линию, я был подпоручиком, — прибавил он, — и при нем получил два чина за дела против горцев.

— А теперь вы?..

— Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне. А вы, смею спросить?..

Я сказал ему.

Разговор этим кончился, и мы продолжали молча идти друг подле друга. На вершине горы нашли мы снег. Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без промежутка, как это обыкновенно бывает на юге; но благодаря отливу снегов мы легко могли различать дорогу, которая все еще шла в гору, хотя уже не так круто. Я велел положить чемодан свой в тележку, заменить быков лошадьми и в последний раз оглянулся вниз на долину; но густой туман, нахлынувший волнами из ущелий, покрывал ее совершенно, и ни единый звук не долетал уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали на водку; но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг разбежались.

— Ведь этакой народ! — сказал он, — и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил: «Офицер,

---

<sup>1</sup> Ермолове. (Прим. М. Ю. Лермонтова.)

дай на водку!» Уж татары по мне лучше: те хоть не пьющие...

До станции оставалось еще с версту. Кругом было тихо, так тихо, что по жужжанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что они гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые, черные камни; кой-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякивание русского колокольчика.

— Завтра будет славная погода! — сказал я.

Штабс-капитан не отвечал ни слова и указал мне пальцем на высокую гору, поднимавшуюся прямо против нас.

— Что ж это? — спросил я.

— Гуд-гора.

— Ну так что ж?

— Посмотрите, как курится.

И в самом деле, Гуд-гора курилась; по бокам ее ползали легкие струйки облаков, а на вершине лежала черная туча, такая черная, что на темном небе она казалась пятном.

Уж мы различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей, и перед нами мелькали приветные огоньки, когда пахнул сырой, холодный ветер, ущелье загудело и пошел мелкий дождь. Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. Я с благоговением посмотрел на штабс-капитана...

— Нам придется здесь ночевать, — сказал он с досадою, — в такую метель через горы не пере-едешь. Что? были ль обвалы на Крестовой? — спросил он извозчика.

— Не было, господин, — отвечал осетин-извозчик, — а висит много, много.

За неимением комнаты для проезжающих на станции, нам отвели ночлег в дымной сакле. Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный чайник — единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу.

Сакля была прилеплена одним боком к скале; три скользкие, мокрые ступени вели к ее двери. Ощупью вошел я и наткнулся на корову (хлев у этих людей заменяет лакейскую). Я не знал, куда деваться: тут блеют овцы, там ворчит собака. К счастью, в стороне блеснул тусклый свет и помог мне найти другое отверстие наподобие двери. Тут открылась картина довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посередине трещал огонек, разложенный на земле, и дым, выталкиваемый обратно ветром из отверстия в крыше, расстилался вокруг такой густой пеленою, что я долго не мог осмотреться; у огня сидели две старухи, множество детей и один худощавый грузин, все в лохмотьях. Нечего было делать, мы приютились у огня, закурили трубки, и скоро чайник зашипел приветливо.

— Жалкие люди! — сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении.

— Преглупый народ! — отвечал он. — Поверите ли? ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы хотя разбойники, голыши, зато отчаян-

ные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!

— А вы долго были в Чечне?

— Да, я лет десять стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода, — знаете?

— Слыхал.

— Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы; нынче, слава Богу, смирнее; а бывало, на сто шагов отойдешь за вал, уж где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит: чуть зазевался, того и гляди — либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А молодцы!..

— А, чай, много с вами бывало приключений? — сказал я, подстрекаемый любопытством.

— Как не бывать! бывало...

Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался. Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку — желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям. Между тем чай поспел; я вытащил из чемодана два походные стаканчика, налил и поставил один перед ним. Он отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывало!» Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко это удается: другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые пять лет ему никто не скажет «здравствуйте» (потому что фельдфебель говорит «здравия желаю»). А поболтать было бы о чем: кругом народ дикий, любопытный; каждый день опасность, случаи бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают.

— Не хотите ли подбавить рому? — сказал я моему собеседнику, — у меня есть белый из Тифлиса; теперь холодно.

— Нет-с, благодарствуйте, не пью.

— Что так?

— Да так. Я дал себе заклятье. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога; вот мы и вышли перед фронт навеселе, да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал: не дай Господи, как он рассердился! чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно: другой раз целый год живешь, никого не видишь, да как тут еще водка — пропавший человек!

Услышав это, я почти потерял надежду.

— Да вот хоть черкесы, — продолжал он, — как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насилу ноги унес, а еще у мирнова князя был в гостях.

— Как же это случилось?

— Вот (он набил трубку, затянулся и начал рассказывать), вот изволите видеть, я тогда стоял в крепости за Тереком с ротой — этому скоро пять лет. Раз, осенью, пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы, верно, — спросил я его, — переведены сюда из России?» — «Точно так, господин штабс-капитан», — отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно... ну, да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и, пожалуйста, — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.

— А как его звали? — спросил я Максима Максимыча.

— Его звали... Григорьем Александровичем *Печориным*. Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод целый день на охоте; все иззябнут, устанут — а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнёт, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха... Да-с, с большими был странностями, и, должно быть, богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещей!..

— А долго он с вами жил? — спросил я опять.

— Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!

— Необыкновенные? — воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.

— А вот я вам расскажу. Верст шесть от крепости жил один мирной князь. Сынишка его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить: всякий день, бывало, то за тем, то за другим. И уж точно, избаловали мы его с Григорьем Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на что хочешь: шапку ли поднять на всем скаку, из ружья ли стрелять. Одно было в нем нехорошо: ужасно падох был на деньги. Раз, для смеха, Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему украдет лучшего козла из отцовского стада; и что ж вы

думаете? на другую же ночь притащил его за рога. А бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал. «Эй, Азамат, не сносить тебе головы, — говорил я ему, — яман<sup>1</sup> будет твоя башка!»

Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки: так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. Отправились. В ауле множество собак встретило нас громким лаем. Женщины, увидя нас, прятались; те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел гораздо лучшее мнение о черкешенках», — сказал мне Григорий Александрович. «Погодите!» — отвечал я, усмехаясь. У меня было свое на уме.

У князя в сакле собралось уже множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречаемых и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли со всеми почестями и повели в кунацкую. Я, однако ж, не позабыл подметить, где поставили наших лошадей, знаете, для непредвидимого случая.

— Как же у них празднуют свадьбу? — спросил я штабс-капитана.

— Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана; потом дарят молодых и всех их родственников; едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честную компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по-нашему сказать, бал. Бедный старичишка бречит на трехструнной... забыл, как по-ихнему... ну,

---

<sup>1</sup> плохо (*тюрк.*).

да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги, одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Печориным сидели на почетном месте, и вот к нему подошла меньшая дочь хозяина, девушка лет шестнадцати, и пропела ему... как бы сказать?.. вроде комплимента.

— А что ж такое она пропела, не помните ли?

— Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду». Печорин встал, поклонился ей, приложил руку ко лбу и сердцу и просил меня отвечать ей, я хорошо знаю по-ихнему и перевел его ответ.

Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорью Александровичу: «Ну что, какова?» — «Прелесть! — отвечал он. — А как ее зовут?» — «Ее зовут Белою», — отвечал я.

И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу. Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, и она частенько исподлобья на него поглядывала. Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из угла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомого Казбича. Он, знаете, был не то, чтоб мирной, не то, чтоб не мирной. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он проводил к нам в крепость баранов и продавал дешево,



только никогда не торговался: что запросит, давай, — хоть зарежь, не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с абреками, и, правду сказать, рожь у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок-то был, как бес! Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде, — и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! скачи хоть на пятьдесят верст; а уж выезжена — как собака бегаёт за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не при-вязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..

В этот вечер Казбич был угрюмее, чем когда-нибудь, и я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. «Недаром на нем эта кольчуга, — подумал я, — уж он, верно, что-нибудь замышляет».

Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начал бродить по ущельям.

Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает: у меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: «*Якши тхе, чек якши!*»<sup>1</sup>

Пробираюсь вдоль забора и вдруг слышу голоса; один голос я тотчас узнал: это был повеса Азамат, сын нашего хозяина; другой говорил реже и тише.

---

<sup>1</sup> Хороша, очень хороша! (тюрк.)

«О чем они тут толкуют? — подумал я, — уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор.

— Славная у тебя лошадь! — говорил Азамат, — если б я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич!

«А! Казбич!» — подумал я и вспомнил кольчугу.

— Да, — отвечал Казбич после некоторого молчания, — в целой Кабарде не найдешь такой. Раз, — это было за Тереком, — я ездил с абреками отбивать русские табуны; нам не посчастливилось, и мы рассыпались кто куда. За мной неслись четыре казака; уж я слышал за собою крик гяуров, и передо мною был густой лес. Прилег я на седло, поручил себя аллаху и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль было с ним расстаться, — и пророк вознаградил меня. Несколько пуль провизжало над моей головою; я уже слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам... Вдруг передо мною рытвина глубокая; скакун мой призадумался — и прыгнул. Задние его копыта оборвались с противного берега, и он повис на передних ногах. Я бросил поводья и полетел в овраг; это спасло моего коня: он выскочил. Казаки всё это видели, только ни один не спустился меня искать: они, верно, думали, что я убится до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; пополз я по густой траве вдоль по

оврагу, — смотрю: лес кончился, несколько казаков выезжает из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой Карагёз; все кинулись за ним с криком; долго, долго они за ним гонялись, особенно один раз два чуть-чуть не накинул ему на шею аркана; я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их — и вижу: мой Карагёз летит, развевая хвост, вольный как ветер, а гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. Валлах! это правда, истинная правда! До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг, что ж ты думаешь, Азамат? во мраке слышу, бегают по берегу оврага конь, фыркает, ржет и бьет копытами о землю; я узнал голос моего Карагёза: это был он, мой товарищ!.. С тех пор мы не разлучались.

И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названия.

— Если б у меня был табун в тысячу кобыл, — сказал Азамат, — то отдал бы тебе его весь за твоего Карагёза.

— *Йок*<sup>1</sup>, не хочу, — отвечал равнодушно Казбич.

— Послушай, Казбич, — говорил, ласкаясь к нему, Азамат, — ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы; отдай мне свою лошадь, и я сделаю все, что ты хочешь, украду для тебя у отца лучшую его винтовку или пашку, что только пожелаешь, — а пашка его настоящая гурда: приложи лезвием к руке, сама в тело вопьется; а кольчуга — такая, как твоя, нипочем.

Казбич молчал.

---

<sup>1</sup> Нет (*тюрк.*).

— В первый раз, как я увидел твоего коня, — продолжал Азамат, — когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор все мне опостылело: на лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением, стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя, просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям моим являлся вороной скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым, как стрела, хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его! — сказал Азамат дрожащим голосом.

Мне послышалось, что он заплакал: а надо вам сказать, что Азамат был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже когда он был и помоложе.

В ответ на его слезы послышалось что-то вроде смеха.

— Послушай! — сказал твердым голосом Азамат, — видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! как поет! а вышивает золотом — чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха... Хочешь? дождись меня завтра ночью там в ущелье, где бежит поток: я пойду с нею мимо в соседний аул, — и она твоя. Неужели не стоит Бэла твоего скакуна?

Долго, долго молчал Казбич; наконец вместо ответа он затянул старинную песню вполголоса<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> Я прошу прощения у читателей в том, что переложил в стихи песню Казбича, переданную мне, разумеется, прозой; но привычка — вторая натура. (*Прим. М. Ю. Лермонтова.*)

Много красавиц в аулах у нас,  
Звезды сияют во мраке их глаз.  
Сладко любить их, завидная доля;  
Но веселей молодецкая воля.  
Золото купит четыре жены,  
Конь же лихой не имеет цены:  
Он и от вихря в степи не отстанет,  
Он не изменит, он не обманет.

Напрасно упрашивал его Азамат согласиться, и плакал, и льстил ему, и клялся; наконец Казбич нетерпеливо прервал его:

— Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни.

— Меня! — крикнул Азамат в бешенстве, и железное детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. «Будет потеха!» — подумал я, кинулся в конюшню, взнуздal лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось: Азамат вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья — и пошла потеха! Крик, шум, выстрелы; только Казбич уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой.

— Плохое дело в чужом пиру похмелье, — сказал я Григорью Александровичу, поймав его за руку, — не лучше ли нам поскорей убраться?

— Да погодите, чем кончится.

— Да уж, верно, кончится худо; у этих азиатов все так: натянулись бузы, и пошла резня! — Мы сели верхом и ускакали домой.

— А что Казбич? — спросил я нетерпеливо у штабс-капитана.

— Да что этому народу делается! — отвечал он, допивая стакан чая, — ведь ускользнул!

— И не ранен? — спросил я.

— А Бог его знает! Живущи, разбойники! Видал я-с иных в деле, например: ведь весь исколот, как решето, штыками, а все махает шашкой. — Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю: — Никогда себе не прощу одного: черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу все, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся, — такой хитрый! — а сам задумал кое-что.

— А что такое? Расскажите, пожалуйста.

— Ну уж нечего делать! начал рассказывать, так надо продолжать.

Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению, он зашел к Григорью Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича: уж такая-то она резвая, красивая, словно серна, — ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет.

Засверкали глазенки у татарчонка, а Печорин будто не замечает; я заговорю о другом, а он, смотришь, тотчас собьет разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Азамат. Недели три спустя стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах-с. Что за диво?..

Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку: Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду. Раз он ему и скажи:

— Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь; а не видать тебе ее как своего затылка! Ну, скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы?..

— Все, что он захочет, — отвечал Азамат.

— В таком случае я тебе ее достану, только с условием... Поклянись, что ты его исполнишь...

— Клянусь... Клянись и ты!

— Хорошо! Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне сестру Бэлу: Карагёз будет ее калымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден.

Азамат молчал.

— Не хочешь? Ну, как хочешь! Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок: рано тебе ездить верхом...

Азамат вспыхнул.

— А мой отец? — сказал он.

— Разве он никогда не уезжает?

— Правда...

— Согласен?..

— Согласен, — прошептал Азамат, бледный как смерть. — Когда же?

— В первый раз, как Казбич приедет сюда; он обещался пригнать десяток баранов; остальное — мое дело. Смотри же, Азамат!

Вот они и сладили это дело... по правде сказать, нехорошее дело! Я после и говорил это Печорину, да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он, потому что, по-ихнему, он все-таки ее муж, а что Казбич — разбойник, которого надо было наказывать. Сами посудите, что ж я мог отвечать против этого?.. Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот

раз приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и меда; я велел ему привести на другой день.

— Азамат! — сказал Григорий Александрович, — завтра Карагёз в моих руках; если нынче ночью Бэла не будет здесь, то не видать тебе коня...

— Хорошо! — сказал Азамат и поскакал в аул.

Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости: как они сладили это дело, не знаю, — только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.

— А лошадь? — спросил я у штабс-капитана.

— Сейчас, сейчас. На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне; я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком<sup>1</sup>.

Стали мы болтать о том, о сем: вдруг, смотрю, Казбич вздрогнул, переменялся в лице — и к окну; но окно, к несчастью, выходило на задворье.

— Что с тобой? — спросил я.

— Моя лошадь!.. лошадь!.. — сказал он, весь дрожа.

Точно, я услышал топот копыт: «Это, верно, какой-нибудь казак приехал...»

— Нет! Урус яман, яман! — заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс. В два прыжка он был уж на дворе; у ворот крепости часовой заградил ему путь ружьем; он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге... Вдали вилась пыль — Азамат скакал на лихом Карагёзе; на бегу Казбич

---

<sup>1</sup> Кунак значит — приятель. (Прим. М. Ю. Лермонтова.)



выхватил из чехла ружье и выстрелил, с минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах; потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его вдребезги, повалился на землю и зарыдал, как ребенок... Вот кругом него собрался народ из крепости — он никого не замечал; постояли, потолковали и пошли назад; я велел возле его положить деньги за баранов — он их не тронул, лежал себе ничком, как мертвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь?.. Только на другое утро пришел в крепость и стал просить, чтоб ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня и ускакал на нем, не почел за нужное скрывать. При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамата.

— Что ж отец?

— Да в том-то и штука, что его Казбич не нашел: он куда-то уезжал дней на шесть, а то удалось ли бы Азамату увезти сестру?

А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец: ведь смекнул, что не сносить ему головы, если б он попался. Так с тех пор и пропал: верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Тереком или за Кубанью: туда и дорога!..

Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Как я только проведал, что черкешенка у Григорья Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему.

Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил... Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог, — только он притворялся, будто не слышит.

— Господин прапорщик! — сказал я как можно строже. — Разве вы не видите, что я к вам пришел?

— Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли трубку? — отвечал он, не приподнимаясь.

— Извините! Я не Максим Максимыч: я штабс-капитан.

— Все равно. Не хотите ли чаю? Если б вы знали, какая мучит меня забота!

— Я все знаю, — отвечал я, подошед к кровати.

— Тем лучше: я не в духе рассказывать.

— Господин прапорщик, вы сделали проступок, за который и я могу отвечать...

— И, полноте! что ж за беда? Ведь у нас давно все пополам.

— Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу!

— Митька, шпагу!..

Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал:

— Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо.

— Что нехорошо?

— Да то, что ты увез Бэлу... Уж эта мне бестия Азамат!.. Ну, признайся, — сказал я ему.

— Да когда она мне нравится?..

Ну, что прикажете отвечать на это?.. Я стал в тупик. Однако ж после некоторого молчания я ему сказал, что если отец станет ее требовать, то надо будет отдать.

— Вовсе не надо!

— Да он узнает, что она здесь?

— А как он узнает?

Я опять стал в тупик.

— Послушайте, Максим Максимыч! — сказал Печорин, приподнявшись, — ведь вы добрый че-

ловек, — а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только охотою портить; оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...

— Да покажите мне ее, — сказал я.

— Она за этой дверью; только я сам нынче напрасно хотел ее видеть: сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит: пуглива, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу: она знает по-татарски, будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня, — прибавил он, ударив кулаком по столу. Я и в этом согласился... Что прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должно соглашаться.

— А что? — спросил я у Максима Максимыча, — в самом ли деле он приучил ее к себе, или она зачала в неволе, с тоски по родине?

— Помилуйте, отчего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же горы, что из аула, — а этим дикарям больше ничего не надобно. Да притом Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь: первые дни она молча гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщице и возбуждали ее красноречие. Ах, подарки! чего не сделает женщина за цветную тряпичку!.. Ну, да это в сторону... Долго бился с нею Григорий Александрович; между тем учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало-помалу она приучилась на него смотреть, сначала исподлобья, искоса, и все грустила, напевала свои песни вполголоса, так что, бывало, и мне становилось грустно, когда слушал ее из соседней комнаты. Никогда не забуду одной сцены: шел я мимо и заглянул в окно; Бэла сидела на

лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович стоял перед нею.

— Послушай, моя пери, — говорил он, — ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею, — отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, я тебя сейчас отпущу домой. — Она вздрогнула едва приметно и покачала головой. — Или, — продолжал он, — я тебе совершенно ненавистен? — Она вздохнула. — Или твоя вера запрещает полюбить меня? — Она побледнела и молчала. — Поверь мне, Аллах для всех племен один и тот же, и если он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью? — Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслью; в глазах ее выразились недоверчивость и желание убедиться. Что за глаза! они так и сверкали, будто два угля. — Послушай, милая, добрая Бэла! — продолжал Печорин, — ты видишь, как я тебя люблю; я все готов отдать, чтоб тебя развеселить: я хочу, чтоб ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей?

Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих, потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтоб она его поцеловала; она слабо защищалась и только повторяла: «Поджалуста, поджалуста, не нада, не нада». Он стал настаивать; она задрожала, заплакала.

— Я твоя пленница, — говорила она, — твоя раба; конечно, ты можешь меня принудить, — и опять слезы.

Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему; он сложа руки прохаживался угрюмый взад и вперед.

— Что, батюшка? — сказал я ему.

— Дьявол, а не женщина! — отвечал он, — только я вам даю мое честное слово, что она будет моя...

Я покачал головою.

— Хотите пари? — сказал он, — через неделю!

— Извольте!

Мы ударили по рукам и разошлись.

На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками; привезено было множество разных персидских материй, всех не перечесть.

— Как вы думаете, Максим Максимыч! — сказал он мне, показывая подарки, — устоит ли азиатская красавица против такой батареи?

— Вы черкешенок не знаете, — отвечал я, — это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки, совсем не то. У них свои правила: они иначе воспитаны. — Григорий Александрович улыбнулся и стал насвистывать марш.

А ведь вышло, что я был прав: подарки подействовали только вполовину; она стала ласковее, доверчивее — да и только; так что он решился на последнее средство. Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошел к ней. «Бэ-ла! — сказал он, — ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь; я ошибся: прощай! оставайся полной хозяйкой всего, что я имею; если хочешь, вернись к отцу, — ты свободна. Я виноват перед тобой и должен наказать себя: прощай, я еду — куда? почему я знаю! А ось недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки: тогда вспомни обо мне и прости меня». — Он отвернулся и протянул ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо: и мне

стало жаль — такая смертельная бледность покрыла это милое личико! Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери; он дрожал — и сказать ли вам? я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек, Бог его знает! Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Поверите ли? я, стоя за дверью, также заплакал, то есть, знаете, не то чтоб заплакал, а так — глупость!..

Штабс-капитан замолчал.

— Да, признаюсь, — сказал он потом, теребя усы, — мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила.

— И продолжительно было их счастье? — спросил я.

— Да, она нам призналась, что с того дня, как увидела Печорина, он часто ей грезился во сне и что ни один мужчина никогда не производил на нее такого впечатления. Да, они были счастливы!

— Как это скучно! — воскликнул я невольно. В самом деле, я ожидал трагической развязки, и вдруг так неожиданно обмануть мои надежды!.. — Да неужели, — продолжал я, — отец не догадался, что она у вас в крепости?

— То есть, кажется, он подозревал. Спустя несколько дней узнали мы, что старик убит. Вот как это случилось...

Внимание мое пробудилось снова.

— Надо вам сказать, что Казбич вообразил, будто Азамат с согласия отца украл у него лошадь, по крайней мере я так полагаю. Вот он раз и дождался у дороги, версты три за аулом; старик возвращался из напрасных поисков за дочерью; уздени его отстали, — это было в сумерки, — он ехал задумчиво ша-

гом, как вдруг Казбич, будто кошка, нырнул из-за куста, прыг сзади его на лошадь, ударом кинжала свалил его наземь, схватил поводья — и был таков; некоторые уздени все это видели с пригорка; они бросились догонять, только не догнали.

— Он вознаградил себя за потерю коня и отместил, — сказал я, чтоб вызвать мнение моего собеседника.

— Конечно, по-ихнему, — сказал штабс-капитан, — он был совершенно прав.

Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить; не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения.

Между тем чай был выпит; давно запряженные кони продрогли на снегу; месяц бледнел на западе и готов уж был погрузиться в черные свои тучи, висящие на дальних вершинах, как клочки разорванного занавеса; мы вышли из сакли. Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась и обещала нам тихое утро; хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне и одна за другою гасли по мере того, как бледноватый отблеск востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутые отлогости гор, покрытые девственными снегами. Направо и налево чернели мрачные, таинственные пропасти, и туманы, клубясь и извиваясь, как змеи, сползали туда по морщинам соседних скал, будто чувствуя и пугаясь приближения дня.

Тихо было все на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы; только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем. Мы тронулись в путь; с трудом пять худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гуд-гору; мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колеса, когда лошади выбивались из сил; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она все поднималась и наконец пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-горы, как коршун, ожидающий добычу; снег хрустел под ногами нашими; воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно прилиwała в голову, но со всем тем какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром: чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми; все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и, верно, будет когда-нибудь опять. Тот, кому случалось, как мне, бродить по горам пустынным, и долго-долго всматриваться в их причудливые образы, и жадно глотать животворящий воздух, разлитой в их ущельях, тот, конечно, поймет мое желание передать, рассказать, нарисовать эти волшебные картины. Вот наконец мы взобрались на Гуд-гору, остановились и оглянулись: на ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкой бурей; но на востоке все было так ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли... Да, и штабс-капитан: в сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее во сто крат,



чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и на бумаге.

— Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам? — сказал я ему.

— Да-с, и к свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное биение сердца.

— Я слышал напротив, что для иных старых воинов эта музыка даже приятна.

— Разумеется, если хотите, оно и приятно; только все же потому, что сердце бьется сильнее. Посмотрите, — прибавил он, указывая на восток, — что за край!

И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями; голубоватый туман скользил по ней, убегая в соседние теснины от теплых лучей утра; направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдаль те же горы, но хоть бы две скалы похожие одна на другую, — и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что кажется, тут бы и остаться жить навеки; солнце чуть показалось из-за темно-синей горы, которую только привычный глаз мог бы различить от грозовой тучи; но над солнцем была кровавая полоса, на которую мой товарищ обратил особенное внимание. «Я говорил вам, — воскликнул он, — что нынче будет погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой. Трогайтесь!» — закричал он ямщикам.

Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтоб они не раскатывались, взяли лошадей под уздцы и начали спускаться; направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живу-

щих на дне ее, казалась гнездом ласточки; я содрогнулся, подумав, что часто здесь, в глухую ночь, по этой дороге, где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курьер раз десять в год проезжает, не вылезая из своего тряского экипажа. Один из наших извозчиков был русский ярославский мужик, другой осетин: осетин вел коренную под уздцы со всеми возможными предосторожностями, отпрягнув заранее уносных, — а наш беспечный русак даже не слез с облучка! Когда я ему заметил, что он мог бы побеспокоиться в пользу хотя моего чемодана, за которым я вовсе не желал лазить в эту бездну, он отвечал мне: «И, барин! Бог даст, не хуже их доедем: ведь нам не впервые», — и он был прав: мы точно могли бы не доехать, однако ж все-таки доехали, и если б все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтоб об ней так много заботиться...

Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы? Во-первых, я пишу не повесть, а путевые записки; следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле. Итак, погодите или, если хотите, переверните несколько страниц, только я вам этого не советую, потому что переезд через Крестовую гору (или, как называет ее ученый Гамба, le Mont St. — Christophe) достоин вашего любопытства. Итак, мы спускались с Гуд-горы в Чертову долину... Вот романтическое название! Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами, — не тут-то было: название Чертовой долины происходит от слова «черта», а не «черт», ибо здесь когда-то была граница Грузии. Эта долина была завалена снеговыми сугробами, напоминавшими довольно живо Саратов, Тамбов и прочие *милые* места нашего отечества.

— Вот и Крестовая! — сказал мне штабс-капитан, когда мы съехали в Чертову долину, указывая на холм, покрытый пеленою снега; на его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога, по которой проезжают только тогда, когда боковая завалена снегом: наши извозчики объявили, что обвалов еще не было, и, сберегая лошадей, повезли нас кругом. При повороте встретили мы человек пять осетин; они предложили нам свои услуги и, уцепясь за колеса, с криком принялись тащить и поддерживать наши тележки. И точно, дорога опасная: направо висели над нашими головами груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье; узкая дорога частью была покрыта снегом, который в иных местах проваливался под ногами, в других превращался в лед от действия солнечных лучей и ночных морозов, так что с трудом мы сами пробирались; лошади падали; налево зияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корою, то с пеною прыгая по черным камням. В два часа едва могли бы обогнуть Крестовую гору — две версты в два часа! Между тем тучи спустились, повалил град, снег; ветер, врываясь в ущелья, ревел, свистал, как Соловей-разбойник, и скоро каменный крест скрылся в тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, набегали с востока... Кстати, об этом кресте существует странное, но всеобщее предание, будто его поставил император Петр I, проезжая через Кавказ; но, во-первых, Петр был только в Дагестане, и, во-вторых, на кресте написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию г. Ермолова, а именно в 1824 году. Но предание, несмотря на надпись, так укоренилось,

что, право, не знаешь, чему верить, тем более что мы не привыкли верить надписям.

Нам должно было спускаться еще верст пять по обледеневшим скалам и топкому снегу, чтоб достигнуть станции Коби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная; только ее дикие напевы были печальнее, заунывнее. «И ты, изгнанница, — думал я, — плачешь о своих широких, раздольных степях! Там есть где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно, как орлу, который с криком бьется о решетку железной своей клетки».

— Плохо! — говорил штабс-капитан, — посмотрите, кругом ничего не видно, только туман да снег; того и гляди, что свалимся в пропасть или засядем в трущобу, а там пониже, чай, Байдара так разыгралась, что и не переедешь. Уж эта мне Азия! что люди, что речки — никак нельзя положиться!

Извозчики с криком и бранью колотили лошадей, которые фыркали, упирались и не хотели ни за что в свете тронуться с места, несмотря на красноречие кнутов.

— Ваше благородие, — сказал наконец один, — ведь мы нынче до Коби не доедем; не прикажете ли, покамест можно, своротить налево? Вон там что-то на косогоре чернеется — верно, сакли: там всегда-с проезжающие останавливаются в погоду; они говорят, что проведут, если дадите на водку, — прибавил он, указывая на осетина.

— Знаю, братец, знаю без тебя! — сказал штабс-капитан, — уж эти бестии! рады придраться, чтоб сорвать на водку.

— Признайтесь, однако, — сказал я, — что без них нам было бы хуже.

— Все так, все так, — пробормотал он, — уж эти мне проводники! чутьем слышат, где можно попользоваться, будто без них и нельзя найти дороги.

Вот мы свернули налево и кое-как, после многих хлопот, добрались до скудного приюта, состоявшего из двух саклей, сложенных из плит и булыжника и обведенных такою же стеною; оборванные хозяева приняли нас радушно. Я после узнал, что правительство им платит и кормит их с условием, чтоб они принимали путешественников, застигнутых бурей.

— Все к лучшему! — сказал я, присев у огня, — теперь вы мне доскажете вашу историю про Бэлу; я уверен, что этим не кончилось.

— А почему ж вы так уверены? — отвечал мне штабс-капитан, примигивая с хитрой улыбкою.

— Оттого, что это не в порядке вещей: что началось необыкновенным образом, то должно так же и кончиться.

— Ведь вы угадали...

— Очень рад.

— Хорошо вам радоваться, а мне так, право, грустно, как вспомню. Славная была девочка эта Бэла! Я к ней наконец так привык, как к дочери, и она меня любила. Надо вам сказать, что у меня нет семейства: об отце и матери я лет двенадцать уж не имею известия, а заpastись женой не догадался раньше, — так теперь уж, знаете, и не к лицу; я и рад был, что нашел кого баловать. Она, бывало, нам поет песни иль пляшет лезгинку... А уж как плясала! Видал я наших губернских барышень, а раз был-с и в Москве в Благородном собрании, лет двадцать тому назад, — только куда им! совсем не то!.. Григорий Александрович наряжал ее, как куколку, холил и лелеял; и она у нас так похорошела, что чу-

до; с лица и с рук сошел загар, румянец разыгрался на щеках... Уж какая, бывало, веселая, и все надо мной, проказница, подшучивала... Бог ей прости!..

— А что, когда вы ей объявили о смерти отца?

— Мы долго от нее это скрывали, пока она не привыкла к своему положению; а когда сказали, так она дня два поплакала, а потом забыла.

Месяца четыре все шло как нельзя лучше. Григорий Александрович, я уж, кажется, говорил, страстно любил охоту: бывало, так его в лес и подмывает за кабанами или козами, — а тут хоть бы вышел за крепостной вал. Вот, однако же, смотрю, он стал снова задумываться, ходит по комнате, загнув руки назад; потом раз, не сказав никому, отправился стрелять, — целое утро пропадал; раз и другой, все чаще и чаще... «Нехорошо, — подумал я, — верно, между ними черная кошка проскочила!»

Одно утро захожу к ним — как теперь перед глазами: Бэла сидела на кровати в черном шелковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что я испугался.

— А где Печорин? — спросил я.

— На охоте.

— Сегодня ушел? — Она молчала, как будто ей трудно было выговорить.

— Нет, еще вчера, — наконец сказала она, тяжело вздохнув.

— Уж не случилось ли с ним чего?

— Я вчера целый день думала, думала, — отвечала она сквозь слезы, — придумывала разные несчастья: то казалось мне, что его ранил дикий кабан, то чеченец утащил в горы... А нынче мне уж кажется, что он меня не любит.

— Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать! — Она заплакала, потом с гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:

— Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это так будет продолжаться, то я сама уйду: я не раба что — я княжеская дочь!..

Я стал ее уговаривать.

— Послушай, Бэла, ведь нельзя же ему век сидеть здесь, как пришитому к твоей юбке: он человек молодой, любит погоняться за дичью, — походит, да и придет; а если ты будешь грустить, то скорей ему наскучишь.

— Правда, правда! — отвечала она, — я буду весела. — И с хохотом схватила свой бубен, начала петь, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно; она опять упала на постель и закрыла лицо руками.

Что было с нею мне делать? Я, знаете, никогда с женщинами не обращался; думал, думал, чем ее утешить, и ничего не придумал; несколько времени мы оба молчали... Пренеприятное положение-с!

Наконец я ей сказал: «Хочешь, пойдем прогуляться на вал? погода славная!» Это было в сентябре; и точно, день был чудесный, светлый и не жаркий; все горы видны были как на блюдечке. Мы пошли, ходили по крепостному валу взад и вперед, молча; наконец она села на дерн, и я сел возле нее. Ну, право, вспомнить смешно: я бегал за нею, точно какая-нибудь нянька.

Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный: с одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками<sup>1</sup>, оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор; кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны; с другой — бежала мелкая речка, и к ней примыкал

---

<sup>1</sup> овраги (*Прим. М. Ю. Лермонтова.*)

частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа. Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть все. Вот смотрю: из леса выезжает кто-то на серой лошади, все ближе и ближе, и, наконец, остановился по ту сторону речки, саженьях во сто от нас, и начал кружить лошадь свою как бешеный. Что за притча!..

— Посмотри-ка, Бэла, — сказал я, — у тебя глаза молодые, что это за джигит: кого это он приехал тешить?..

Она взглянула и вскрикнула:

— Это Казбич!

— Ах он разбойник! смеяться, что ли, приехал над нами? — Всматриваюсь, точно Казбич: его смуглая рожа, оборванный, грязный как всегда.

— Это лошадь отца моего, — сказала Бэла, схватив меня за руку; она дрожала, как лист, и глаза ее сверкали. «Ага! — подумал я, — и в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь!»

— Подойди-ка сюда, — сказал я часовому, — осмотри ружье да ссади мне этого молодца, — получишь рубль серебром.

— Слушаю, ваше высокоблагородие; только он не стоит на месте...

— Прикажи! — сказал я, смеясь...

— Эй, любезный! — закричал часовой, махая ему рукой, — подожди маленько, что ты крутишься, как волчок?

Казбич остановился в самом деле и стал вслушиваться: верно, думал, что с ним заводят переговоры, — как не так!.. Мой гренадер приложился... бац!.. мимо, — только что порох на полке вспыхнул; Казбич толкнул лошадь, и она дала скачок в сторо-



ну. Он привстал на стременах, крикнул что-то по-своему, погрозил нагайкой — и был таков.

— Как тебе не стыдно! — сказал я часовому.

— Ваше высокоблагородие! умирать отправил-ся, — отвечал он, — такой проклятый народ, сразу не убьешь.

Четверть часа спустя Печорин вернулся с охоты; Бэла бросилась ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствие... Даже я уж на него рассердился.

— Помилуйте, — говорил я, — ведь вот сейчас тут был за речкою Казбич, и мы по нем стреляли; ну, долго ли вам на него наткнуться? Эти горцы народ мстительный: вы думаете, что он не догадывается, что вы частью помогли Азамату? А я бьюсь об заклад, что нынче он узнал Бэлу. Я знаю, что год тому назад она ему больно нравилась, — он мне сам говорил, — и если б надеялся собрать порядочный калым, то, верно бы, посватался...

Тут Печорин задумался. «Да, — отвечал он, — надо быть осторожнее... Бэла, с нынешнего дня ты не должна более ходить на крепостной вал».

Вечером я имел с ним длинное объяснение: мне было досадно, что он переменялся к этой бедной девочке; кроме того, что он половину дня проводил на охоте, его обращение стало холодно, ласкал он ее редко, и она заметно начинала сохнуть, личико ее вытянулось, большие глаза потускнели. Бывало, спросишь ее: «О чем ты вздохнула, Бэла? ты печальна?» — «Нет!» — «Тебе чего-нибудь хочется?» — «Нет!» — «Ты тоскуешь по родным?» — «У меня нет родных». Случалось по целым дням, кроме «да» да «нет», от нее ничего больше не добьешься.

Вот об этом-то я и стал ему говорить. «Послушайте, Максим Максимыч, — отвечал он, — у меня не-

счастный характер: воспитание ли меня сделало таким, Бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастья других, то и сам не менее несчастлив; разумеется, это им плохое утешение — только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц и был любим, — но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться — науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями, — напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров, — и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Бэлу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою... Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я за нее отдам жизнь, — только мне с нею скучно... Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я

также очень достоин сожаления, может быть, больше, нежели она: во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне все мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь — только не в Европу, избави Боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию, — авось где-нибудь умру на дороге! По крайней мере я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощью бурь и дурных дорог». Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от двадцатипятилетнего человека, и, Бог даст, в последний... Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста, — продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне, — вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужто тамошняя молодежь вся такова?

Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое; что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду; что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастье, как порок. Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво:

— А всё, чай, французы ввели моду скучать?

— Нет, англичане.

— А-га, вот что!.. — отвечал он, — да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!

Я невольно вспомнил об одной московской барыне, которая утверждала, что Байрон был больше ничего как пьяница. Впрочем, замечание штабс-капитана было извинительнее: чтоб воздерживаться

от вина, он, конечно, старался уверять себя, что все в мире несчастья происходят от пьянства.

Между тем он продолжал свой рассказ таким образом:

— Казбич не являлся снова. Только не знаю почему, я не мог выбить из головы мысль, что он недаром приезжал и затевает что-нибудь худое.

Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана; я долго отнекивался: ну, что мне был за диковинка кабан! Однако ж утащил-таки он меня с собою. Мы взяли человек пять солдат и уехали рано утром. До десяти часов шныряли по камышам и по лесу, — нет зверя. «Эй, не воротиться ли? — говорил я, — к чему упрямитесь? Уж, видно, такой задался несчастный день!» Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи, таков уж был человек: что задумает, подавай; видно, в детстве был маменькой избалован... Наконец в полдень отыскали проклятого кабана: паф! паф!.. не тут-то было: ушел в камыши... такой уж был несчастный день! Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой.

Мы ехали рядом, молча, распустив поводья, и были уж почти у самой крепости: только кустарник закрывал ее от нас. Вдруг выстрел... Мы взглянули друг на друга: нас поразило одинаковое подозрение... Опрометью поскакали мы на выстрел, — смотрим: на валу солдаты собрались в кучку и указывают в поле, а там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца; ружье из чехла — и туда; я за ним.

К счастью, по причине неудачной охоты, наши кони не были измучены: они рвались из-под седла,

и с каждым мгновением мы были все ближе и ближе... И наконец я узнал Казбича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда поравнялся с Печориным и кричу ему: «Это Казбич!..» Он посмотрел на меня, кивнул головою и ударил коня плетью.

Вот наконец мы были уж от него на ружейный выстрел; измучена ли была у Казбича лошадь или хуже наших, только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперед. Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего Карагёза...

Смотрю: Печорин на скаку приложился из ружья... «Не стреляйте! — кричу я ему, — берегите заряд; мы и так его догоним». Уж эта молодежь! вечно некстати горячится... Но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади; она стгоряча сделала еще прыжков десять, споткнулась и упала на колени. Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках своих женщину, окутанную чадрую... Это была Бэла... бедная Бэла! Он что-то нам закричал по-своему и занес над нею кинжал... Медлить было нечего: я выстрелил, в свою очередь, наудачу; верно, пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку... Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь и возле нее Бэла; а Казбич, бросив ружье, по кустарникам, точно кошка, карабкался на утес; хотелось мне его снять оттуда — да не было заряда готового! Мы соскочили с лошадей и кинулись к Бэле. Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны ручьями... Такой злодей: хоть бы в сердце ударил — ну, так уж и быть, одним разом все бы кончил, а то в спину... самый разбойничий удар! Она была без памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану как можно туже;

напрасно Печорин целовал ее холодные губы — ничто не могло привести ее в себя.

Печорин сел верхом; я поднял ее с земли и кое-как посадил к нему на седло; он обхватил ее рукой, и мы поехали назад. После нескольких минут молчания Григорий Александрович сказал мне: «Послушайте, Максим Максимыч, мы этак ее не доведем живую». — «Правда», — сказал я, и мы пустили лошадей во весь дух. Нас у ворот крепости ожидала толпа народа; осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послали за лекарем. Он был хотя пьян, но пришел: осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может; только он ошибся...

— Выздоровела? — спросил я у штабс-капитана, схватив его за руку и невольно обрадовавшись.

— Нет, — отвечал он, — а ошибся лекарь тем, что она еще два дня прожила.

— Да объясните мне, каким образом ее похитил Казбич?

— А вот как: несмотря на запрещение Печорина, она вышла из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко; она села на камень и опустила ноги в воду. Вот Казбич подкрался — цап-царап ее, зажал рот и потащил в кусты, а там вскочил на коня, да и тягу! Она между тем успела закричать; часовые всполошились, выстрелили, да мимо, а мы тут и подоспели.

— Да зачем Казбич ее хотел увезти?

— Помилуйте! да эти черкесы известный воровской народ: что плохо лежит, не могут не стянуть; другое и не нужно, а все украдет... уж в этом прошу их извинить! Да притом она ему давно-таки нравилась.

— И Бэла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы уж с нею измучились порядком. Около десяти часов вечера

она пришла в себя; мы сидели у постели: только что она открыла глаза, начала звать Печорина. «Я здесь, подле тебя, моя джанечка (то есть, по-нашему, душенька)», — отвечал он, взяв ее за руку. «Я умру!» — сказала она. Мы начали ее утешать, говорили, что лекарь обещал ее вылечить непременно; она покачала головой и отвернулась к стене: ей не хотелось умирать!..

Ночью она начала бредить; голова ее горела, по всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки; она говорила несвязные речи об отце, брате: ей хотелось в горы, домой... Потом она также говорила о Печорине, давала ему разные нежные названия или упрекала его в том, что он разлюбил свою джанечку...

Он слушал ее молча, опустив голову на руки; но только я во все время не заметил ни одной слезы на ресницах его: в самом ли деле он не мог плакать или владел собою — не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывал.

К утру бред прошел; с час она лежала неподвижная, бледная и в такой слабости, что едва можно было заметить, что она дышит; потом ей стало лучше, и она начала говорить, только как вы думаете, о чем?.. Этакая мысль придет ведь только умирающему!.. Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григорья Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой. Мне пришло на мысль окрестить ее перед смертью; я ей это предложил; она посмотрела на меня в нерешимости и долго не могла слова вымолвить; наконец отвечала, что она умрет в той вере, в какой родилась. Так прошел целый день. Как она переменялась в этот день! бледные щеки впали, глаза сделались боль-

шие, большие, губы горели. Она чувствовала внутренний жар, как будто в груди у ней лежало раскаленное железо.

Настала другая ночь; мы не смыкали глаз, не отходили от ее постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только что боль начинала утихать, она старалась уверить Григорья Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих. Перед утром стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбита перевязку, и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтоб он ее поцеловал. Он стал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу... Нет, она хорошо сделала, что умерла: ну, что бы с ней случилось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось, рано или поздно...

Половину следующего дня она была тиха, молчалива и послушна, как ни мучил ее наш лекарь припарками и микстурой. «Помилуйте! — говорил я ему, — ведь вы сами сказали, что она умрет непременно, так зачем тут все ваши препараты?» — «Все-таки лучше, Максим Максимыч, — отвечал он, — чтоб совесть была покойна». Хороша совесть!

После полудня она начала томиться жаждой. Мы отворили окна — но на дворе было жарче, чем в комнате; поставили льду около кровати — ничего не помогало. Я знал, что эта невыносимая жажда — признак приближения конца, и сказал это Печорину. «Воды, воды!..» — говорила она хриплым голосом, приподнявшись с постели.



Он сделался бледен как полотно, схватил стакан, налил и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву, не помню какую... Да, батюшка, видал я много, как люди умирают в гошпиталях и на поле сражения, только это все не то, совсем не то!.. Еще, признаться, меня вот что печалит: она перед смертью ни разу не вспомнила обо мне; а кажется, я ее любил как отец... ну, да Бог ее простит!.. И вправду молвить: что ж я такое, чтоб обо мне вспоминать перед смертью?..

Только что она испила воды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась. Приложили зеркало к губам — гладко!.. Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал; долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки на спину; его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно: я бы на его месте умер с горя. Наконец он сел на землю, в тени, и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия, хотел утешить его, начал говорить; он поднял голову и засмеялся... У меня мороз пробежал по коже от этого смеха. Я пошел заказывать гроб.

Признаться, я частью для развлечения занялся этим. У меня был кусок термаламы, я обил ею гроб и украсил его черкесскими серебряными галунами, которых Григорий Александрович накупил для нее же.

На другой день рано утром мы ее похоронили за крепостью у речки, возле того места, где она в последний раз сидела; кругом ее могилки теперь разрослись кусты белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, да, знаете, неловко: все-таки она была не христианка...

— А что Печорин? — спросил я.

— Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка; только никогда с этих пор мы не говорили о Бэле; я видел, что это ему будет неприятно, так зачем же? Месяца три спустя его назначили в е... й полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались, да, помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было. Впрочем, до нашего брата вести поздно доходят.

Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже — вероятно, для того, чтобы заглушить печальные воспоминания.

Я не перебивал его и не слушал.

Через час явилась возможность ехать; метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Дорогой невольно я опять завел разговор о Бэле и о Печорине.

— А не слышали ли вы, что сделалось с Казбичем? — спросил я.

— С Казбичем? А, право, не знаю... Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич, удалец, который в красном бешмете разъезжает шажком под нашими выстрелами и превежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко; да вряд ли это тот самый!..

В Коби мы расстались с Максимом Максимычем; я поехал на почтовых, а он, по причине тяжелой поклажи, не мог за мной следовать. Мы не надеялись никогда более встретиться, однако встретились, и, если хотите, я расскажу: это целая история... Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения?.. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ.

## МАКСИМ МАКСИМЫЧ

Расставшись с Максимом Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владыкавказ. Избавляю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которых решительно никто читать не станет.

Я остановился в гостинице, где останавливаются все проезжие и где между тем некому велеть зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или так пьяны, что от них никакого толка нельзя добиться.

Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дни, ибо «оказия» из Екатеринограда еще не пришла и, следовательно, отправиться обратно не может. Что за оказия!.. но дурной каламбур не утешение для русского человека, и я, для развлечения, вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей; видите, как иногда мало-важный случай имеет жестокие последствия!.. А вы, может быть, не знаете, что такое «оказия»? Это — прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владыкаказа в Екатериноград.

Первый день я провел очень скучно; на другой рано утром въезжает на двор повозка... А! Максим Максимыч!.. Мы встретились как старые приятели. Я предложил ему свою комнату. Он не церемонился,

даже ударил меня по плечу и скривил рот на манер улыбки. Такой чудак!..

Максим Максимыч имел глубокие сведения в поваренном искусстве: он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его огуречным рассолом, и я должен признаться, что без него пришлось бы остаться на сухоядении. Бутылка кахетинского помогла нам забыть о скромном числе блюд, которых было всего одно, и, закурив трубки, мы уселись: я у окна, он у затопленной печи, потому что день был сырой и холодный. Мы молчали. Об чем было нам говорить?.. Он уж рассказал мне об себе все, что было занимательного, а мне было нечего рассказывать. Я смотрел в окно. Множество низеньких домиков, разбросанных по берегу Терека, который разбегается шире и шире, мелькали из-за деревьев, а дальше синелись зубчатую стеной горы, и из-за них выглядывал Казбек в своей белой кардинальской шапке. Я с ними мысленно прощался: мне стало их жалко...

Так сидели мы долго. Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман начинал расходиться в долинах, когда на улице раздался звон дорожного колокольчика и крик извозчиков. Несколько повозок с грязными армянами въехало на двор гостиницы и за ними пустая дорожная коляска; ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За нею шел человек с большими усами, в венгерке, довольно хорошо одетый для лакея; в его звании нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку, с которой он вытряхивал золу из трубки и покрикивал на ямщика. Он явно был балованный слуга ленивого барина — нечто вроде русского фигаро.

— Скажи, любезный, — закричал я ему в окно, — что́ это — оказия пришла, что ли?

Он посмотрел довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся; шедший возле него армянин, улыбаясь, отвечал за него, что точно пришла оказия и завтра утром отправится обратно.

— Слава Богу! — сказал Максим Максимыч, подошедший к окну в это время. — Экая чудная коляска! — прибавил он, — верно, какой-нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис. Видно, не знает наших горок! Нет, шутишь, любезный: они не свой брат, растрясут хоть англинскую!

— А кто бы это такое был — пойдите-ка узнать...

Мы вышли в коридор. В конце коридора была отворена дверь в боковую комнату. Лакей с извозчиком перетаскивали в нее чемоданы.

— Послушай, братец, — спросил у него штабс-капитан, — чья эта чудесная коляска?.. а?.. Прекрасная коляска!.. — Лакей, не оборачиваясь, бормотал что-то про себя, развязывая чемодан. Максим Максимыч рассердился; он тронул неучтивца по плечу и сказал: — Я тебе говорю, любезный...

— Чья коляска?.. моего господина...

— А кто твой господин?

— Печорин...

— Что ты? что ты? Печорин?.. Ах, Боже мой!.. да не служил ли он на Кавказе?.. — воскликнул Максим Максимыч, дернув меня за рукав. У него в глазах сверкала радость.

— Служил, кажется, — да я у них недавно.

— Ну так!.. так!.. Григорий Александрович?.. Так ведь его зовут?.. Мы с твоим барином были приятели, — прибавил он, ударив дружески по плечу лакея, так что заставил его пошатнуться...

— Позвольте, сударь; вы мне мешаете, — сказал тот, нахмурившись.

— Экой ты, братец!.. Да знаешь ли? мы с твоим барином были друзья закадычные, жили вместе... Да где ж он сам остался?..

Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н...

— Да не зайдет ли он вечером сюда? — сказал Максим Максимыч, — или ты, любезный, не пойдешь ли к нему за чем-нибудь?.. Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимыч; так и скажи... уж он знает... Я тебе дам восьмигривенный на водку...

Лакей сделал презрительную мину, слыша такое скромное обещание, однако уверил Максима Максимыча, что он исполнит его поручение.

— Ведь сейчас прибежит!.. — сказал мне Максим Максимыч с торжествующим видом, — пойду за ворота его дожидаться... Эх! жалко, что я не знаком с Н...

Максим Максимыч сел за воротами на скамейку, а я ушел в свою комнату. Признаюсь, я также с некоторым нетерпением ждал появления этого Печорина; хотя, по рассказу штабс-капитана, я составил себе о нем не очень выгодное понятие, однако некоторые черты в его характере показались мне замечательными. Через час инвалид принес кипящий самовар и чайник.

— Максим Максимыч, не хотите ли чаю? — закричал я ему в окно.

— Благодарствуйте; что-то не хочется.

— Эй, выпейте! Смотрите, ведь уж поздно, холодно.

— Ничего; благодарствуйте...

— Ну, как угодно! — Я стал пить чай один; минут через десять входит мой старик:

— А ведь вы правы: все лучше выпить чайку, — да я все ждал... Уж человек его давно к нему пошел, да, видно, что-нибудь задержало.

Он наскоро выхлебнул чашку, отказался от второй и ушел опять за ворота в каком-то беспокойстве: явно было, что старика огорчало небрежение Печорина, и тем более, что он мне недавно говорил о своей с ним дружбе и еще час тому назад был уверен, что он прибежит, как только услышит его имя.

Уже было поздно и темно, когда я снова отворил окно и стал звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать; он что-то пробормотал сквозь зубы; я повторил приглашение, — он ничего не отвечал.

Я лег на диван, завернувшись в шинель и оставив свечу на лежанке, скоро задремал и проспал бы покойно, если б, уж очень поздно, Максим Максимыч, войдя в комнату, не разбудил меня. Он бросил трубку на стол, стал ходить по комнате, шевырять в печи, наконец лег, но долго кашлял, плевал, ворочался...

— Не клопы ли вас кусают? — спросил я.

— Да, клопы... — отвечал он, тяжело вздохнув.

На другой день утром я проснулся рано; но Максим Максимыч предупредил меня. Я нашел его у ворот сидящего на скамейке. «Мне надо сходить к коменданту, — сказал он, — так пожалуйста, если Печорин придет, пришлите за мной...»

Я обещался. Он побежал, как будто члены его получили вновь юношескую силу и гибкость.

Утро было свежее, но прекрасное. Золотые облака громоздились на горах, как новый ряд воздушных гор; перед воротами расстилалась широкая площадь; за нею базар кипел народом, потому что было воскресенье; босые мальчишки-осетины, неся за плечами котомки с сотовым медом, вертелись вокруг меня;

я их прогнал: мне было не до них, я начинал разделять беспокойство доброго штабс-капитана.

Не прошло десяти минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали. Он шел с полковником Н..., который, доведя его до гостиницы, простился с ним и повернул в крепость. Я тотчас же послал инвалида за Максимом Максимычем.

Навстречу Печорину вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать, подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его господин, закурив сигару, зевнул раза два и сел на скамью по другую сторону ворот. Теперь я должен нарисовать его портрет.

Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сюртучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками — верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки; положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость; он сидел, как сидит



Бальзакова тридцатилетняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. С первого взгляда на лицо его я бы не дал ему более двадцати трех лет, хотя после я готов был дать ему тридцать. В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность; белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный, благородный лоб, на котором, только по долгом наблюдении, можно было заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные — признак породы в человеке, так, как черная грива и черный хвост у белой лошади. Чтоб закончить портрет, я скажу, что у него был немного вздернутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза; о глазах я должен сказать еще несколько слов.

Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?.. Это признак — или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его — непродолжительный, но пронизательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен. Все эти замечания пришли мне на ум, может быть, только потому, что я знал некоторые подробности его жизни, и, может быть, на другого вид его произвел бы совершенно различ-

ное впечатление; но так как вы об нем не услышите ни от кого, кроме меня, то поневоле должны довольствоваться этим изображением. Скажу в заключение, что он был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиогномий, которые особенно нравятся женщинам светским.

Лошади были уже заложены; колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что все готово, а Максим Максимыч еще не являлся. К счастью, Печорин был погружен в задумчивость, глядя на синие зубы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошел к нему.

— Если вы захотите еще немного подождать, — сказал я, — то будете иметь удовольствие увидаться с старым приятелем...

— Ах, точно! — быстро отвечал он, — мне вчера говорили: но где же он? — Я обернулся к площади и увидел Максима Максимыча, бегущего что было мочи... Через несколько минут он был уже возле нас; он едва мог дышать; пот градом катился с лица его; мокрые клочки седых волос, вырвавшись из-под шапки, приклеились ко лбу его; колена его дрожали... он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он еще не мог говорить.

— Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете? — сказал Печорин.

— А... ты?.. а вы?.. — пробормотал со слезами на глазах старик... — сколько лет... сколько дней... да куда это?..

— Еду в Персию — и дальше...

— Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас расстанемся?.. Столько времени не видались...

— Мне пора, Максим Максимыч, — был ответ.

— Боже мой, Боже мой! да куда это так спешите?.. Мне столько бы хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну что? в отставке?.. как?.. что подельвали?..

— Скучал! — отвечал Печорин, улыбаясь...

— А помните наше житье-бытье в крепости? Славная страна для охоты!.. Ведь вы были страстный охотник стрелять... А Бэла?..

Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся...

— Да, помню! — сказал он, почти тотчас принужденно зевнув...

Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним еще часа два.

— Мы славно пообедаем, — говорил он, — у меня есть два фазана; а кахетинское здесь прекрасное... разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта... Мы поговорим... вы мне расскажете про свое житье в Петербурге... А?..

— Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч... Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли... — прибавил он, взяв его за руку.

Старик нахмурил брови... Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это.

— Забыть! — проворчал он, — я-то не забыл ничего... Ну, да Бог с вами!.. Не так я думал с вами встретиться...

— Ну полно, полно! — сказал Печорин, обняв его дружески, — неужели я не тот же?.. Что делать?.. всякому своя дорога... Удастся ли еще встретиться-

ся, — Бог знает!.. — Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать вожжи.

— Постой, постой! — закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски, — совсем было забыл... У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрыч... я их таскаю с собой... думал найти вас в Грузии, а вот где Бог дал свидеться... Что мне с ними делать?..

— Что хотите! — отвечал Печорин. — Прощайте...

— Так вы в Персию?.. а когда вернетесь?.. — кричал вслед Максим Максимыч...

Коляска была уж далеко; но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: вряд ли! да и зачем?..

Давно уж не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге, — а бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости.

— Да, — сказал он наконец, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам сверкала на его ресницах, — конечно, мы были приятели, — ну, да что приятели в нынешнем веке!.. Что ему во мне? Я не богат, не чиновен, да и по летам совсем ему не пара... Вишь, каким он франтом сделался, как побывал опять в Петербурге... Что за коляска!.. сколько поклажи!.. и лакей такой гордый!.. — Эти слова были произнесены с иронической улыбкой. — Скажите, — продолжал он, обратясь ко мне, — ну что вы об этом думаете?.. ну, какой бес несет его теперь в Персию?.. Смешно, ей-богу, смешно!.. Да я всегда знал, что он ветренный человек, на которого нельзя надеяться... А, право, жаль, что он дурно кончит... да и нельзя иначе!.. Уж я всегда говорил, что нет проку в том, кто старых друзей забы-

шет!.. — Тут он отвернулся, чтоб скрыть свое волнение, и пошел ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колеса, тогда как глаза его поминутно наполнялись слезами.

— Максим Максимыч, — сказал я, подошедши к нему, — а что это за бумаги вам оставил Печорин?

— А Бог его знает! какие-то записки...

— Что вы из них сделаете?

— Что? а велю наделать патронов.

— Отдайте их лучше мне.

Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане; вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю; потом другая, третья и десятая имели ту же участь: в его досаде было что-то детское; мне стало смешно и жалко...

— Вот они все, — сказал он, — поздравляю вас с находкою...

— И я могу делать с ними все, что хочу?

— Хоть в газетах печатайте. Какое мне дело?.. Что, я разве друг его какой?.. или родственник?.. Правда, мы жили долго под одной кровлей... Да мало ли с кем я не жил?..

Я схватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не раскаялся. Скоро пришли нам объявить, что через час тронется оказия: я велел закладывать. Штабс-капитан вошел в комнату в то время, когда я уже надевал шапку; он, казалось, не готовился к отъезду; у него был какой-то принужденный, холодный вид.

— А вы, Максим Максимыч, разве не едете?

— Нет-с.

— А что так?

— Да я еще коменданта не видал, а мне надо сдать ему кой-какие казенные вещи...

— Да ведь вы же были у него?

— Был, конечно, — сказал он, заминаясь... — да его дома не было... а я не дождался.

Я понял его: бедный старик, в первый раз от роду, может быть, бросил дела службы для *собственной надобности*, говоря языком бумажным, — и как же он был награжден!

— Очень жаль, — сказал я ему, — очень жаль, Максим Максимыч, что нам до срока надо расстаться.

— Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться!.. Вы молодежь светская, гордая: еще пока здесь, под черкесскими пулями, так вы туда-сюда... а после встретишься, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

— Я не заслужил этих упреков, Максим Максимыч.

— Да я, знаете, так, к слову говорю; а впрочем, желаю вам всякого счастья и веселой дороги.

Мы простились довольно сухо. Добрый Максим Максимыч сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном! И отчего? Оттого что Печорин в рассеянности или от другой причины протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею. Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда пред ним отдергивается розовый флер, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими... Но чем их заменить в лета Максима Максимыча? Поневоле сердце очерствеет и душа закроется...

Я уехал один.

## Предисловие

Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем поставить свое имя над чужим произведением. Дай Бог, чтоб читатели меня не наказали за такой невинный подлог!

Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истинного друга понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге; следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастья любимого предмета, чтоб разразиться над его головою градом упреков, советов, насмешек и сожалений.

Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям.

Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Хотя я переменял все собственные имена, но те, о которых в нем говорится, вероятно себя узна-

ют, и, может быть, они найдут оправдания поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не имеющего отныне ничего общего с здешним миром: мы почти всегда извиняем то, что понимаем.

Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам.

Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? — Мой ответ — заглавие этой книги. «Да это злая ирония!» — скажут они. — Не знаю.

## I

### ТАМАНЬ

Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал спросонья диким голосом: «Кто идет?» Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности, и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. К которой избе ни подъедем — занята. Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к черту, только к месту!» — закричал я. «Есть еще одна фатера, — отвечал десятник, по-



чесывая затылок, — только вашему благородию не понравится; там нечисто!» Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед, и после долгого странствия по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате, на самом берегу моря.

Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища; на дворе, обнесенном оградой из булыжника, стояла избочась другая лачужка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с непрерывным ропотом плескались темносиние волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. «Суда в пристани есть, — подумал я, — завтра отправлюсь в Геленджик».

При мне исправлял должность денщика линейский казак. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина — молчат; стучу — молчат... что это? Наконец из сеней выполз мальчик лет четырнадцати.

«Где хозяин?» — «Нема». — «Как? совсем нету?» — «Совсим». — «А хозяйка?» — «Побигла в слободку». — «Кто же мне отопрет дверь?» — сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась; из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика: она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы. Он стоял передо мною неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица.

Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих,

безруких, горбатых и проч. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто с потерей члена душа теряет какое-нибудь чувство.

Итак, я начал рассматривать лицо слепого; но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз?.. Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется; напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно, да и с какой целью? Но что делать? я часто склонен к предубеждениям...

«Ты хозяйский сын?» — спросил я его наконец. «Ни». — «Кто же ты?» — «Сирота, убогой». — «А у хозяйки есть дети?» — «Ни; была дочь, да утикла за море с татаринном». — «С каким татаринном?» — «А бис его знает! крымский татарин, лодочник из Керчи».

Я взошел в хату: две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа — дурной знак! В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи, поставив в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разостлал бурку на лавке, казак свою на другой; через десять минут он захрапел, но я не мог заснуть: передо мной во мраке все вертелся мальчик с белыми глазами.

Так прошло около часа. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся Бог знает куда. Я не мог

полагать, чтоб это существо сбежало по отвесу берега; однако иначе ему некуда было деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты; навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верной, но осторожной поступью прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. «В тот день немые возопиют и слепые прозрят», — подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтоб не терять его из вида.

Между тем луна начала одеваться тучами и на море поднялся туман; едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля; у берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить. Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне, и вот вижу: слепой приостановился, потом повернул низом направо; он шел так близко от воды, что казалось, сейчас волна его схватит и унесет; но, видно, это была не первая его прогулка, судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и избегал рытвин. Наконец он остановился, будто прислушиваясь к чему-то, присел на землю и положил возле себя узел. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за выдавшеюся скалою берега. Спустя несколько минут с противоположной стороны показалась белая фигура; она подошла к слепому и села возле него. Ветер по временам приносил мне их разговор.

— Что, слепой? — сказал женский голос, — буря сильна; Янко не будет.

— Янко не боится бури, — отвечал тот.

— Туман густеет, — возразил опять женский голос с выражением печали.

— В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов, — был ответ.

— А если он утонет?

— Ну что ж? в воскресенье ты пойдешь в церковь без новой ленты.

Последовало молчание; меня, однако, поразило одно: слепой говорил со мною малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски.

— Видишь, я прав, — сказал опять слепой, ударив в ладоши, — Янко не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей; прислушайся-ка: это не вода плещет, меня не обманешь, — это его длинные весла.

Женщина вскочила и стала всматриваться в даль с видом беспокойства.

— Ты бредишь, слепой, — сказала она, — я ничего не вижу.

Признаюсь, сколько я ни старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. Так прошло минут десять; и вот показалась между горами волн черная точка: она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно поднимаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на расстояние двадцати верст, и важная должна быть причина, его к тому побудившая! Думая так, я с невольным биением сердца глядел на бедную лодку; но она, как утка, ныряла и потом, быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти среди брызгов пены; и вот, я думал, она ударится с размаха об берег и разлетится вдребезги; но она ловко повернулась боком и вскочила в маленькую бухту невредима. Из нее вышел человек среднего роста, в татарской бараньей шапке; он махнул рукою, и все трое принялись вытаскивать что-то из лодки; груз был

так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро я потерял их из виду. Надо было вернуться домой; но, признаюсь, все эти странности меня тревожили, и я насилу дождался утра.

Казак мой был очень удивлен, когда, проснувшись, увидел меня совсем одетого; я ему, однако ж, не сказал причины. Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на дальний берег Крыма, который тинется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине коего белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию, чтоб узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик.

Но, увы! комендант ничего не мог сказать мне решительного. Суда, стоящие в пристани, были все — или сторожевые, или купеческие, которые еще даже не начинали нагружаться. «Может быть, дня через три, четыре придет почтовое судно, — сказал комендант, — и тогда — мы увидим». Я вернулся домой угрюм и сердит. Меня в дверях встретил казак мой с испуганным лицом.

— Плохо, ваше благородие! — сказал он мне.

— Да, брат, Бог знает когда мы отсюда уедем! — Тут он еще больше встревожился и, наклонясь ко мне, сказал шепотом:

— Здесь нечисто! Я встретил сегодня черноморского урядника; он мне знаком — был прошлого года в отряде; как я ему сказал, где мы остановились, а он мне: «Здесь, брат, нечисто, люди недобрые!..» Да и в самом деле, что это за слепой! ходит везде один, и на базар, за хлебом, и за водой... уж видно, здесь к этому привыкли.

— Да что ж? по крайней мере показалась ли хозяйка?

— Сегодня без вас пришла старуха и с ней дочь.

— Какая дочь? у ней нет дочери.

— А Бог ее знает, кто она, коли не дочь; да вон старуха сидит теперь в своей хате.

Я взошел в лачужку. Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед, довольно роскошный для бедняков. Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глуха, не слышит. Что было с ней делать? Я обратился к слепому, который сидел перед печью и подкладывал в огонь хворост. «Ну-ка, слепой чертенок, — сказал я, взяв его за ухо, — говори, куда ты ночью таскался, с узлом, а?» Вдруг мой слепой заплакал, закричал, заохал: «Куды я ходив?.. никуды не ходив... с узлом? яким узлом?» Старуха на этот раз услышала и стала ворчать: «Вот выдумывают, да еще на убогого! за что вы его? что он вам сделал?» Мне это надоело, и я вышел, твердо решившись достать ключ этой загадки.

Я завернулся в бурку и сел у забора на камень, поглядывая вдаль; предо мной тянулось ночью бурю взволнованное море, и однообразный шум его, подобный ропоту засыпающего города, напомнил мне старые годы, перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаниями, я забылся... Так прошло около часа, может быть, и более... Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно, это была песня, и женский, свежий голосок, — но откуда?.. Прислушиваюсь — напев странный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь — никого нет кругом; прислушиваюсь снова — звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла де-

нушка в полосатом платье, с распущенными косами, истоящая русалка. Защитив глаза ладонью от лучей солнца, она пристально всматривалась в даль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала снова песню.

Я запомнил эту песню от слова до слова:

Как по вольной волюшке —  
По зелено морю,  
Ходят все кораблики  
Белопарусники.  
Промеж тех корабликов  
Моя лодочка,  
Лодка неснащенная,  
Двухвесельная.  
Буря ль разыграется —  
Старые кораблики  
Приподымут крылышки,  
По морю размечутся.  
Стану морю кланяться  
Я низехонько:  
«Уж не тронь ты, злое море,  
Мою лодочку:  
Везет моя лодочка  
Вещи драгоценные,  
Правит ею в темну ночь  
Буйная головушка».

Мне невольно пришло на мысль, что ночью я слышал тот же голос; я на минуту задумался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там не было. Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое, и, прицелкивая пальцами, вбежала к старухе, и тут начался между ними спор. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вот вижу, бежит опять вприпрыжку моя ундица: поравнявшись со мной, она

остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, как будто удивленная моим присутствием; потом небрежно обернулась и тихо пошла к пристани. Этим не кончилось: целый день она вертелась около моей квартиры; пеньё и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо! На лице ее не было никаких признаков безумия; напротив, глаза ее с бойкою пронизательностью останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то магнетической властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить, она убежала, коварно улыбаясь.

Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею свои предубеждения также и насчет красоты. В ней было много породы... порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело; это открытие принадлежит юной Франции. Она, то есть порода, а не юная Франция, большею частью изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей певунье казалось не более восемнадцати лет. Необыкновенная гибкость ее стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно правильный нос — все это было для меня обворожительно. Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее улыбке было что-то неопределенное, но такова сила предубеждений: правильный нос свел меня с ума; я вообразил, что нашел Гётеву Миньону, это причудливое создание его немецкого воображения, — и точно, между ими было много сходства: те же быстрые переходы от величай-



него беспокойства к полной неподвижности, те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни...

Под вечер, остановив ее в дверях, я завел с нею следующий разговор:

«Скажи-ка мне, красавица, — спросил я, — что ты делала сегодня на кровле?» — «А смотрела, откуда ветер дует». — «Зачем тебе?» — «Откуда ветер, оттуда и счастье». — «Что же? разве ты песнею зывала счастье?» — «Где поется, там и счастливится». — «А как неравно напоешь себе горе?» — «Ну что ж? где не будет лучше, там будет хуже, а от худя до добра опять недалеко». — «Кто ж тебя выучил эту песню?» — «Никто не выучил; вздумается — запою; кому услышать, тот услышит; а кому не должно слышать, тот не поймет». — «А как тебя зовут, моя певунья?» — «Кто крестил, тот знает». — «А кто крестил?» — «Почему я знаю». — «Экая скрытная! и вот я кое-что про тебя узнал». (Она не изменилась в лице, не пошевелила губами, как будто не об ней дело.) «Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей все, что видел, думая смутить ее — нимало! Она захохотала во все горло. «Много видели, да мало знаете, а что знаете, так держите под замочком». — «А если б я, например, вздумал донести коменданту?» — и тут я сделал очень серьезную, даже строгую мину. Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние слова мои были вовсе не у места; я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться.

Только что смерклось, я велел казаку нагреть чайник по-походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я доканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрипнула, лег-

кий шорох платья и шагов послышался за мной; я вздрогнул и обернулся, — то была она, моя ундина! Она села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои, и не знаю почему, но этот взор показался мне чудно-нежен; он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моею жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное; рука ее без цели бродила по столу, и я заметил в ней легкий трепет; грудь ее то высоко поднималась, то, казалось, она удерживала дыхание. Эта комедия начинала мне надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чая, как вдруг она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, я сжал ее в моих объятиях со всею силою юношеской страсти, но она, как змея, скользнула между моими руками, шепнув мне на ухо: «Нынче ночью, как все уснут, выходи на берег», — и стрелою выскочила из комнаты. В сенях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. «Экий бес-девка!» — закричал казак, расположившийся на соломе и мечтавший согреться остатками чая. Только тут я опомнился.

Часа через два, когда все на пристани умолкло, я разбудил своего казака. «Если я выстрелю из пистолета, — сказал я ему, — то беги на берег». Он выпучил глаза и машинально отвечал: «Слушаю, ваше благородие». Я заткнул за пояс пистолет и вышел. Она дожидалась меня на краю спуска; ее одежда была более нежели легкая, небольшой платок опоясывал ее гибкий стан.

«Идите за мной!» — сказала она, взяв меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шеи; внизу мы повернули направо и пошли по той же дороге, где накануне я следовал за слепым. Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде. Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва приподымая одинокую лодку, причаленную к берегу. «Взойдем в лодку», — сказала моя спутница; я колебался — я не охотник до сентиментальных прогулок по морю; но отступить было не время. Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. «Что это значит?» — сказал я сердито. «Это значит, — отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками, — это значит, что я тебя люблю...» И щека ее прижалась к моей, и я почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду: я хват за пояс — пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу, кровь хлынула мне в голову! Оглядываюсь — мы от берега около пятидесяти сажен, а я не умею плавать! Хочу оттолкнуть ее от себя — она как кошка вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости... «Чего ты хочешь?» — закричал я, крепко сжав ее маленькие руки; пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула: ее змеиная натура выдержала эту пытку.

«Ты видел, — отвечала она, — ты донесешь!» — и сверхъестественным усилием повалила меня на борт; мы оба по пояс свесились из лодки; ее волосы

касались воды; минута была решительная. Я уперся коленкою в дно, схватил ее одной рукой за коосу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросил ее в волны.

Было уже довольно темно; голова ее мелькнула раза два среди морской пены, и больше я ничего не видал...

На дне лодки я нашел половину старого весла и кое-как, после долгих усилий, причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дождался ночного пловца; луна уже катилась по небу, и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу; я подкрался, подстрекаемый любопытством, и прилег в траве над обрывом берега; высунув немного голову, я мог хорошо видеть с утеса все, что внизу делалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих; мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка, быстро приблизилась она; из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке, но острижен он был по-казацки, и за ременным поясом его торчал большой нож. «Янко, — сказала она, — все пропало!» Потом разговор их продолжался, но так тихо, что я ничего не мог расслышать. «А где же слепой?» — сказал наконец Янко, возвыся голос. «Я его послала», — был ответ. Через несколько минут явился слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку.

— Послушай, слепой! — сказал Янко, — ты береги то место... знаешь? там богатые товары... скажи (имени я не расслышал), что я ему больше не слуга; дела пошли худо, он меня больше не увидит;

теперь опасно; поеду искать работы в другом месте, а ему уж такого удальца не найти. Да скажи, кабы он лучше платил за труды, так и Янко бы его не покинул; а мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит! — После некоторого молчания Янко продолжал: — Она поедет со мною; ей нельзя здесь оставаться; а старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, надо знать и честь. Нас же больше не увидит.

— А я? — сказал слепой жалобным голосом.

— На что мне тебя? — был ответ.

Между тем моя ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою; он что-то положил слепому в руку, примолвив: «На, купи себе пряников». — «Только?» — сказал слепой. «Ну, вот тебе еще», — и упавшая монета зазвенела, ударясь о камень. Слепой ее не поднял. Янко сел в лодку, ветер дул от берега, они подняли маленький парус и быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал белый парус между темных волн; слепой все сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание: слепой мальчик точно плакал, и долго, долго... Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг *честных контрабандистов*? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!

Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и пошел в хату. Увы! моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал — подарок приятеля — все исчезло. Тут-то я догадался, какие

вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побранил его, посердился, а делать было нечего! И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восемнадцатилетняя девушка чуть-чуть не утопила?

Слава Богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что случилось с старухой и с бедным слепым — не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности!..

*Конец первой части*

## ЧАСТЬ II

(Окончание журнала Печорина)

### II

#### КНЯЖНА МЕРИ

*11-го мая.*

Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синее, как «последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, — и там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом... Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синё — чего бы, кажется, больше? зачем тут страсти, желания, сожаления?.. Однако пора. Пойду к Елисаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается все водяное общество.

Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно поднимающихся в гору; то были большею частью семейства степных помещиков; об этом можно было тотчас догадаться по истертым, старомодным сюртукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей; видно, у них вся *водяная* молодежь была уже на перече, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством: петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение, но, скоро узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись.

Жены местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклоннее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы; и долго милы! Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то, может быть, секрет их неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинке к Елисаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин, штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют — однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом; они играют и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стакан в колодезь кислосерной воды, они принимают академические позы; штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брыжжи. Они исповедывают глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают.

Наконец вот и колодезь... На площадке близ не-



го построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрали костыли, — бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были два-три хорошеньких личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькали порою быстрые шляпки любителей уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку, или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус; между ними были два гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи.

Я остановился, запыхавшись, на краю горы и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос:

— Печорин! давно ли здесь?

Оборачиваюсь: Грушницкий! Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня.

Грушницкий — юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать двадцать пять лет, хотя ему едва ли двадцать один год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правую опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи

жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает и которые важно драпироваться в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект — их наслаждение; они нравятся романтическим провинциалам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами — иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать: он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий; спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи.

Он довольно остер: эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы: он никого не убьет одним словом; он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель — сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом; я его видел в деле: он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!..

Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас несдобровать.

Приезд его на Кавказ — также следствие его романтического фанатизма: я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке, что он едет не так, просто, служить, но что ищет смерти, потому что... тут он, верно, закрыл глаза рукою и продолжал так: «Нет, вы (или ты) этого не должны знать! Ваша чистая душа содрогнется! Да и к чему? Что я для вас? Поймете ли вы меня?..» — и так далее.

Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К. полк, останется вечною тайною между им и небесами.

Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий довольно мил и забавен. Мне любопытно видеть его с женщинами: тут-то он, я думаю, старается!

Мы встретились старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах.

— Мы ведем жизнь довольно прозаическую, — сказал он, вздохнув, — пьющие утром воду — вялы, как все больные, а пьющие вино повечеру — несносны, как все здоровые. Женские общества есть; только от них небольшое утешение: они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Лиговская с дочерью; но я с ними незнаком. Моя солдатская шинель — как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня.

В эту минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Их лиц за шляпками я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса: ничего лишнего. На второй было закрытое платье *gris de*

*perles*<sup>1</sup>, легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки *couleur puce*<sup>2</sup> стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже не посвященный в таинства красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины.

— Вот княгиня Лиговская, — сказал Грушницкий, — и с нею дочь ее Мери, как она ее называет на английский манер. Они здесь только три дня.

— Однако ты уж знаешь ее имя?

— Да, я случайно слышал, — отвечал он, покраснев, — признаюсь, я не желаю с ними познакомиться. Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?

— Бедная шинель! — сказал я, усмехаясь, — а кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стакан?

— О! это московский франт Раевич! Он игрок: это видно тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость — точно у Робинзона Крузоэ! Да и борода к стати, и прическа *a la toujik*<sup>3</sup>.

— Ты озлоблен против всего рода человеческого.

— И есть за что...

— О! право?

---

<sup>1</sup> серо-жемчужного цвета (фр.).

<sup>2</sup> красновато-бурого цвета (фр.).

<sup>3</sup> по-мужицки (фр.).

В это время дамы отошли от колодца и поравнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костыля и громко отвечал мне по-французски:

— *Mon cher, je haïs les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoûtante*<sup>1</sup>.

Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем я внутренне от души его поздравил.

— Эта княжна Мери прехорошенькая, — сказал я ему. — У нее такие бархатные глаза — именно бархатные: я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах; нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска: они так мягки, они будто бы тебя гладят... Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего... А что, у нее зубы белые? Это очень важно! жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.

— Ты говоришь об хорошенькой женщине, как об английской лошади, — сказал Грушницкий с негодованием.

— *Mon cher,* — отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон, — *je méprise les femmes pour ne pas les aimer car autrement la vie serait un mélodrame trop ridicule*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Милый мой, я ненавижу людей, чтоб их не презирать, потому что иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом (*фр.*).

<sup>2</sup> Милый мой, я презираю женщин, чтобы не любить их, потому что иначе жизнь была бы слишком нелепой мелодрамой (*фр.*).

Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по известчатым скалам и висящим между них кустарникам. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя мимо кислосерного источника, я остановился у крытой галереи, чтоб вздохнуть под ее тенью, и это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьезным разговором. Княжна, вероятно допив уж последний стакан, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца; больше на площадке никого не было.

Я подошел ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтоб его поднять: больная нога ему мешала. Бедняжка! как он ухитрялся, опираясь на костыль, и все напрасно. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание.

Княжна Мери видела все это лучше меня.

Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала его с телодвижением, исполненным невыразимой прелести; потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтобы поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный — даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал, пока, спустившись с горы, она не скрылась за липками бульвара... Но вот ее шляпка

мелькнула через улицу; она вбежала в ворота одного из лучших домов Пятигорска. За нею прошла княгиня и у ворот раскланялась с Раевичем.

Только тогда бедный страстный юнкер заметил мое присутствие.

— Ты видел? — сказал он, крепко пожимая мне руку, — это просто ангел!

— Отчего? — спросил я с видом чистейшего простодушия.

— Разве ты не видал?

— Нет, видел: она подняла твой стакан. Если б был тут сторож, то он сделал бы то же самое, и еще поспешнее, надеясь получить на водку. Впрочем, очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу...

— И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее?..

— Нет.

Я лгал; но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и, я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу; это чувство — было зависть; я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всем признаваться; и вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомо-го, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек

(разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие), который бы не был этим поражен неприятно.

Молча с Грушницким спустились мы с горы и прошли по бульвару, мимо окон дома, где скрывалась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дернув меня за руку, бросил на нее один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как, в самом деле, смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну?..

*13-го мая.*

Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец.

Вернер человек замечательный по многим причинам. Он скептик и матерьялист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и не на шутку, — поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием; так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки! Обыкновенно Вернер исподтишка насмеялся над своими больными; но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом... Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шага: он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию



противника. У него был злой язык: под вывескою его эпиграммы не один добряк прослыл пошлым дураком; его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных, — больные взбеленились, почти все ему отказали. Его приятели, то есть все истинно порядочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восстановить его упавший кредит.

Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразия на красоту самых свежих и розовых эндимионов; надобно отдать справедливость женщинам: они имеют инстинкт красоты душевной; оттого-то, может быть, люди, подобные Вернеру, так страстно любят женщин.

Вернер был мал ростом, и худ, и слаб, как ребенок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных склонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем; он показывал, будто сердился на это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались

приятелями, потому что я к дружбе не способен: из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае — труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги! Вот как мы сделались приятелями: я встретил Вернера в С... среди многочисленного и шумного круга молодежи; разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление; толковали об убеждениях: каждый был убежден в разных разностях.

— Что до меня касается, то я убежден только в одном... — сказал доктор.

— В чем это? — спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал.

— В том, — отвечал он, — что рано или поздно, в одно прекрасное утро я умру.

— Я богаче вас, — сказал я, — у меня, кроме этого, есть еще убеждение — именно то, что я в один прегадкий вечер имел несчастье родиться.

Все нашли, что мы говорим вздор, а, право, из них никто ничего умнее этого не сказал. С этой минуты мы отличили в толпе друг друга. Мы часто сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своим вечером.

Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руки под затылок, когда Вернер взшел в мою комнату. Он сел в кресла, поставил трость в угол, зевнул и объявил, что на дворе становится

жарко. Я отвечал, что меня беспокоят мухи, — и мы оба замолчали.

— Заметьте, любезный доктор, — сказал я, — что без дураков было бы на свете очень скучно... Посмотрите, вот нас двое умных людей; мы знаем заранее, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим; мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга; одно слово — для нас целая история; видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть: мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим; остается одно средство: рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость.

Утомленный долгою речью, я закрыл глаза и зевнул...

Он отвечал, подумавши:

— В вашей галиматье, однако ж, есть идея.

— Две! — отвечал я.

— Скажите мне одну, я вам скажу другую.

— Хорошо, начинайте! — сказал я, продолжая рассматривать потолок и внутренно улыбаясь.

— Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды, и я уж догадываюсь, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали.

— Доктор! решительно нам нельзя разговаривать: мы читаем в душе друг у друга.

— Теперь другая...

— Другая идея вот: мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь; во-первых, потому, что слушать менее утомительно; во-вторых, нельзя прого-

вориться; в-третьих, можно узнать чужую тайну; в-четвертых, потому, что такие умные люди, как вы, лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Теперь к делу: что вам сказала княгиня Лиговская обо мне?

— Вы очень уверены, что это княгиня... а не княжна?..

— Совершенно убежден.

— Почему?

— Потому что княжна спрашивала об Грушницком.

— У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль...

— Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении...

— Разумеется.

— Завязка есть! — закричал я в восхищении, — об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтоб мне не было скучно.

— Я предчувствую, — сказал доктор, — что бедный Грушницкий будет вашей жертвой...

— Дальше, доктор...

— Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. Я ей заметил, что, верно, она вас встречала в Петербурге, где-нибудь в свете... я сказал ваше имя... Оно было ей известно. Кажется, ваша история там наделала много шума... Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания... Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделались героем романа в новом вкусе... Я не противоречил княгине, хотя знал, что она говорит вздор.

— Достойный друг! — сказал я, протянув ему руку. Доктор пожал ее с чувством и продолжал:

— Если хотите, я вас представлю...

— Помилуйте! — сказал я, всплеснув руками, — разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную...

— И вы в самом деле хотите волочиться за княжной?..

— Напротив, совсем напротив!.. Доктор, наконец я торжествую: вы меня не понимаете!.. Это меня, впрочем, огорчает, доктор, — продолжал я после минуты молчания, — я никогда сам не открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтоб их отгадывали, потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться. Однако ж вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди?

— Во-первых, княгиня — женщина сорока пяти лет, — отвечал Вернер, — у ней прекрасный желудок, но кровь испорчена; на щеках красные пятна. Последнюю половину своей жизни она провела в Москве и тут на покое растолстела. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Она мне объявила, что дочь ее невинна как голубь. Какое мне дело?.. Я хотел ей отвечать, чтоб она была спокойна, что я никому этого не скажу! Княгиня лечится от ревматизма, а дочь Бог знает от чего; я велел обеим пить по два стакана в день кислосерной воды и купаться два раза в неделю в разводной ванне. Княгиня, кажется, не привыкла повелевать; она питает уважение к уму и знаниям дочки, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру: в Москве, видно, барышни пустились в ученость и хорошо делают, право! Наши мужчины так не любезны вообще, что с ними кокетничать, должно быть, для умной женщины несносно. Княгиня

очень любит молодых людей; княжна смотрит на них с некоторым презрением: московская привычка! Они в Москве только и питаются что сорокалетними остряками.

— А вы были в Москве, доктор?

— Да, я имел там некоторую практику.

— Продолжайте.

— Да я, кажется, все сказал... Да! вот еще: княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и прочее... она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился, особенно общество: ее, верно, холодно приняли.

— Вы никого у них не видали сегодня?

— Напротив; был один адъютант, один натянутый гвардеец и какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по муже, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная... Не встретили ль вы ее у колодца? — она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке черная родинка: ее лицо меня поразило своею выразительностью.

— Родинка! — пробормотал я сквозь зубы. — Не ужели?

Доктор посмотрел на меня и сказал торжественно, положив мне руку на сердце:

— Она вам знакома!.. — Мое сердце точно билось сильнее обыкновенного.

— Теперь ваша очередь торжествовать! — сказал я, — только я на вас надеюсь: вы мне не измените. Я ее не видал еще, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил в старину... Не говорите ей обо мне ни слова; если она спросит, отнесите обо мне дурно.

— Пожалуй! — сказал Вернер, пожав плечами.

Когда он ушел, ужасная грусть стеснила мое сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе, или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит?.. и как мы встретимся?.. и потом, она ли это?.. Мои предчувствия меня никогда не обманывали. Нет в мире человека, над которым прошедшее приобрело бы такую власть, как надо мною. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки... Я глупо создан: ничего не забываю, — ничего!

После обеда часов в шесть я пошел на бульвар: там была толпа; княгиня с княжною сидели на скамье, окруженные молодежью, которая любезничала наперерыв. Я поместился в некотором расстоянии на другой лавке, остановил двух знакомых Д... офицеров и начал им что-то рассказывать; видно, было смешно, потому что они начали хохотать как сумасшедшие. Любопытство привлекло ко мне некоторых из окружавших княжну; мало-помалу и все ее покинули и присоединились к моему кружку. Я не умолкал: мои анекдоты были умны до глупости, мои насмешки над проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства... Я продолжал увеселять публику до захождения солнца. Несколько раз княжна под ручку с матерью проходила мимо меня, сопровождаемая каким-то хромым старичком; несколько раз ее взгляд, упав на меня, выражал досаду, стараясь выразить равнодушие...

— Что он вам рассказывал? — спросила она у одного из молодых людей, возвратившихся к ней из вежливости, — верно, очень занимательную историю — свои подвиги в сражениях?.. — Она сказала это довольно громко и, вероятно, с намерением кольнуть меня. «А-га! — подумал я, — вы не на

шутку сердитесь, милая княжна; погодите, то ли еще будет!»

Грушницкий следил за нею, как хищный зверь, и не спускал ее с глаз: бьюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтоб его кто-нибудь представил княгине. Она будет очень рада, потому что ей скучно.

*16-го мая.*

В продолжение двух дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит; мне уже пересказывали две-три эпиграммы на мой счет, довольно колкие, но вместе очень лестные. Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с нею. Мы встречаемся каждый день у колодца, на бульваре; я употребляю все свои силы на то, чтоб отвлекать ее обожателей, блестящих адъютантов, бледных москвичей и других, — и мне почти всегда удается. Я всегда ненавидел гостей у себя: теперь у меня каждый день полон дом, обедают, ужинают, играют, — и, увы, мое шампанское торжествует над силою магнетических ее глазок!

Вчера я ее встретил в магазине Челахова; она торговала чудесный персидский ковер. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться: этот ковер так украсил бы ее кабинет!.. Я дал сорок рублей лишних и перекупил его; за это я был вознагражден взглядом, где блистало самое восхитительное бешенство. Около обеда я велел нарочно провести мимо ее окон мою черкесскую лошадь, покрытую этим ковром. Вернер был у них в это время и говорил мне, что эффект этой сцены был самый драматический. Княжна хочет проповедовать против меня ополчение; я даже заметил,



что уж два адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякий день у меня обедают.

Грушницкий принял таинственный вид: ходит, скинув руки за спину, и никого не узнает; нога его вдруг выздоровела: он едва хромает. Он нашел случай вступить в разговор с княгиней и сказать какой-то комплимент княжне; она, видно, не очень разговорчива, ибо с тех пор отвечает на его поклон самой милой улыбкою.

— Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговскими? — сказал он мне вчера.

— Решительно.

— Помилуй! самый приятный дом на водах! Все идешнее лучшее общество...

— Мой друг, мне и не здешнее ужасно надоело. А ты у них бываешь?

— Нет еще; я говорил раза два с княжной, и более, но знаешь, как-то напрашиваться в дом неловко, хотя здесь это и водится... Другое дело, если бы я носил эполеты...

— Помилуй! да этак ты гораздо интереснее! Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением... Да солдатская шинель в глазах всякой чувствительной барышни тебя делает героем и страдальцем.

Грушницкий самодовольно улыбнулся.

— Какой вздор! — сказал он.

— Я уверен, — продолжал я, — что княжна уж влюблена.

Он покраснел до ушей и надулся.

О самолюбие! ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар!..

— У тебя все шутки! — сказал он, показывая, будто сердится, — во-первых, она меня еще так мало знает...

— Женщины любят только тех, которых не знают.

— Да я вовсе не имею претензии ей нравиться: я просто хочу познакомиться с приятным домом, и было бы очень смешно, если б я имел какие-нибудь надежды... Вот вы, например, другое дело! — вы, победители петербургские: только посмóтрите, так женщины тают... А знаешь ли, Печорин, что княжна о тебе говорила?

— Как? она тебе уж говорила обо мне?..

— Не радуйся, однако. Я как-то вступил с нею в разговор у колодца, случайно; третье слово ее было: «Кто этот господин, у которого такой неприятный тяжелый взгляд? он был с вами, тогда...» Она покраснела и не хотела назвать дня, вспомнив свою милую выходку. «Вам не нужно сказывать дня, — отвечал я ей, — он вечно будет мне памятен...» Мой друг, Печорин! я тебя не поздравляю; ты у нее на дурном замечании... А, право, жаль! потому что Мери очень мила!..

Надобно заметить, что Грушницкий из тех людей, которые, говоря о женщине, с которой они едва знакомы, называют ее *моя Мери*, *моя Sophie*, если она имела счастье им понравиться.

Я принял серьезный вид и отвечал ему:

— Да, она недурна... Только берегись, Грушницкий! Русские барышни большею частью питаются только платонической любовью, не примешивая к ней мысли о замужестве; а платоническая любовь самая беспокойная. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят, чтоб их забавляли; если две минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты погиб невозвратно: твое молчание должно возбуждать ее любопытство, твой разговор — никогда не удовлетворять его вполне; ты должен ее тревожить ежеми-

тно; она десять раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой и, чтоб вознаградить себя за это, станет тебя мучить, а потом просто скажет, что она тебя терпеть не может. Если ты надю не приобретешь власти, то даже ее первый помуи не даст тебе права на второй; она с тобой накопничается вдоволь, а года через два выйдет замуж и урода, из покорности к маменьке, и станет себя верить, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой серой шинелью илось сердце страстное и благородное...

Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате.

Я внутренно хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к счастью, этого не заметил. Явно, что он любим, потому что стал еще доверчивее прежнего; у него даже появилось серебряное кольцо с чернью, дешней работы: оно мне показалось подозрительным... Я стал его рассматривать, и что же?.. мелкие буквами имя *Мери* было вырезано на внутренней стороне, и рядом — число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Я утаил свое открытие; я не хочу вынуждать у него признаний, я хочу, чтобы он сам выбрал меня в свои поверенные, — и тут-то я буду наслаждаться...

\* \* \*

Сегодня я встал поздно; прихожу к колодцу — никого уже нет. Становилось жарко; белые мохнатые тучки быстро бежали от снеговых гор, обещающая грозу; голова Машука дымилась, как загашенный факел; кругом его вились и ползали, как змеи, се-

рые клочки облаков, задержанные в своем стремлении и будто зацепившиеся за колючий его кустарник. Воздух был напоен электричеством. Я углубился в виноградную аллею, ведущую в грот; мне было грустно. Я думал о той молодой женщине с родинкой на щеке, про которую говорил мне доктор... Зачем она здесь? И она ли? И почему я думаю, что это она? и почему я даже так в этом уверен? Мало ли женщин с родинками на щеках? Размышляя таким образом, я подошел к самому гроту. Смотрю: в прохладной тени его свода, на каменной скамье сидит женщина, в соломенной шляпке, окутанная черной шалью, опустив голову на грудь: шляпка закрывала ее лицо. Я хотел уже вернуться, чтоб не нарушить ее мечтаний, когда она на меня взглянула.

— Вера! — вскрикнул я невольно.

Она вздрогнула и побледнела.

— Я знала, что вы здесь, — сказала она. Я сел возле нее и взял ее за руку. Давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса; она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами: в них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек.

— Мы давно не видались, — сказал я.

— Давно, и переменились оба во многом!

— Стало быть, уж ты меня не любишь?..

— Я замужем!.. — сказала она.

— Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала, но между тем...

Она выдернула свою руку из моей, и щеки ее запылали.

— Может быть, ты любишь своего второго мужа?..

Она не отвечала и отвернулась.

— Или он очень ревнив?

## Молчание.

— Что ж? Он молод, хорош, особенно, верно, богат, и ты боишься... — Я взглянул на нее и испугался; ее лицо выражало глубокое отчаяние, на глазах сверкали слезы.

— Скажи мне, — наконец прошептала она, — тебе очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий... — Ее голос задрожал, она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою.

«Может быть, — подумал я, — ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда...»

Я ее крепко обнял, и так мы оставались долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуй; ее руки были холодны как лед, голова горела. Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить: значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере.

Она решительно не хочет, чтоб я познакомился с ее мужем — тем хрым старичком, которого я видел мельком на бульваре: она вышла за него для сына. Он богат и страдает ревматизмами. Я не позволил себе над ним ни одной насмешки: она его уважает, как отца, — и будет обманывать, как мужа... Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в особенности!

Муж Веры, Семен Васильевич Г... в, — дальний родственник княгини Лиговской. Он живет с нею рядом; Вера часто бывает у княгини; я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и волочиться за княжной,

чтобы отвлечь от нее внимание. Таким образом, мои планы нимало не расстроились, и мне будет весело...

Весело!.. Да, я уже прошел тот период жизни душевной, когда ищут только счастья, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь, — теперь я только хочу быть любимым, и то очень немногими; даже мне кажется, одной постоянной привязанности мне было бы довольно: жалкая привычка сердца!..

Одно мне всегда было странно: я никогда не делался рабом любимой женщины; напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Отчего это? — оттого ли что я никогда ничем очень не дорожу и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? или это — магнетическое влияние сильного организма? или мне просто не удавалось встретить женщину с упорным характером?

Надо признаться, что я точно не люблю женщин с характером: их ли это дело!..

Правда, теперь вспомнил: один раз, один только раз я любил женщину с твердой волей, которую никогда не мог победить... Мы расстались врагами, — и то, может быть, если б я ее встретил пятью годами позже, мы расстались бы иначе...

Вера больна, очень больна, хотя в этом и не признается; я боюсь, чтобы не было у нее чахотки или той болезни, которую называют *fièvre Lente* — болезнь не русская вовсе, и ей на нашем языке нет названия.

Гроза застала нас в гроте и удержала лишник полчаса. Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались... Она вверилась мне снова с прежней

беспечностью, — и я ее не обману: она единственная женщина в мире, которую я не в силах был бы обмануть. Я знаю, мы скоро разлучимся опять и, может быть, навеки: оба пойдем разными путями до гроба; но воспоминание о ней останется неприкосновенным и душе моей; я ей это повторял всегда, и она мне верит, хотя говорит противное.

Наконец мы расстались; я долго следил за нею шпором, пока ее шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болезненно сжалось, как после первого расставания. О, как я обрадовался этому чувству! Уж не молодость ли с своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять, или это только ее прощальный взгляд, последний подарок — или память?.. А смешно подумать, что на вид я еще мальчик: лицо хотя бледно, но еще свежо; члены гибки и стройны; густые кудри вьются, глаза горят, кровь кипит...

Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра; с жадностью влотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба или внимая шуму потока, падающего с утеса на утес.

Я думаю, казаки, зевающие на своих *вышках*, видя меня скачущего без нужды и цели, долго мучились этою загадкой, ибо, верно, по одежде приняли меня

за черкеса. Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишнего; оружие ценное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, но слишком короткий; ноговицы и черевики пригнаны со всевозможной точностью; бешмет белый, черкеска темно-бурая. Я долго изучал горскую посадку: ничем нельзя так польстить моему самолюбию, как признавая мое искусство в верховой езде на кавказский лад. Я держу четырех лошадей: одну для себя, трех для приятелей, чтоб не скучно было одному таскаться по полям; они берут моих лошадей с удовольствием и никогда со мной не ездят вместе. Было уже шесть часов пополудни, когда вспомнил я, что пора обедать; лошадь моя была измучена; я выехал на дорогу, ведущую из Пятигорска в немецкую колонию, куда часто водяное общество ездит *en piquenique*<sup>1</sup>. Дорога идет, извиваясь между кустарниками, опускаясь в небольшие овраги, где протекают шумные ручьи под сенью высоких трав; кругом амфитеатром возвышаются синие громады Бешту, Змеиной, Железной и Лысой горы. Спустясь в один из таких оврагов, называемых на здешнем наречии *балками*, я остановился, чтоб напоить лошадь; в это время показалась на дороге шумная и блестящая кавалькада: дамы в черных и голубых амазонках, кавалеры в костюмах, составляющих смесь *черкесского с нижегородским*; впереди ехал Грушницкий с княжною Мери.

Дамы на водах еще верят нападениям черкесов среди белого дня; вероятно, поэтому Грушницкий

---

<sup>1</sup> на пикник (фр.).



сверх солдатской шинели повесил пашку и пару пистолетов: он был довольно смешон в этом геройском облачении. Высокий куст закрывал меня от них, но сквозь листья его я мог видеть все и отгадать по выражениям их лиц, что разговор был сентиментальный. Наконец они приблизились к спуску; Грушницкий взял за повод лошадь княжны, и тогда я услышал конец их разговора:

— И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе? — говорила княжна.

— Что для меня Россия? — отвечал ее кавалер, — страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением, тогда как здесь — здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами...

— Напротив... — сказала княжна, покраснев.

Лицо Грушницкого изобразило удовольствие. Он продолжал:

— Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро, под пулями дикарей, и если бы Бог мне каждый год посылал один светлый женский взгляд, один, подобный тому...

В это время они поравнялись со мной; я ударил плетью по лошади и выехал из-за куста...

— Mon dieu, un Circassien!..<sup>1</sup> — вскрикнула княжна в ужасе.

Чтоб ее совершенно разуверить, я отвечал по-французски, слегка наклонясь:

— Ne craignez rien, madame, — je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Боже мой, черкес!.. (фр.).

<sup>2</sup> Не бойтесь, сударыня, — я не более опасен, чем ваш кавалер (фр.).

Она смутилась, — но отчего? от своей ошибки или оттого, что мой ответ ей показался дерзким? Я желал бы, чтоб последнее мое предположение было справедливо. Грушницкий бросил на меня недвольный взгляд.

Поздно вечером, то есть часов в одиннадцать, я пошел гулять по липовой аллее бульвара. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли Машука, на вершине которого лежало злое облачко; месяц подымался на востоке; вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался по улице, сопровождаемый скрипом нагайской арбы и заунывным татарским припевом. Я сел на скамью и задумался... Я чувствовал необходимость излить свои мысли в дружеском разговоре... но с кем?.. «Что делает теперь Вера?» — думал я... Я бы дорого дал, чтоб в эту минуту пожать ее руку.

Вдруг слышу быстрые и неровные шаги... Верно, Грушницкий... Так и есть!

— Откуда?

— От княгини Лиговской, — сказал он очень важно. — Как Мери поет!..

— Знаешь ли что? — сказал я ему, — я пари держу, что она не знает, что ты юнкер; она думает, что ты разжалованный...

— Может быть! Какое мне дело!.. — сказал он рассеянно.

— Нет, я только так это говорю...

— А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно рассердил? Она нашла, что это неслыханная дерзость; я насилу мог ее уверить, что ты так хорошо воспитан и

так хорошо знаешь свет, что не мог иметь намерение ее оскорбить; она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты, верно, о себе самого высокого мнения.

— Она не ошибается... А ты не хочешь ли за нее вступить?

— Мне жаль, что я не имею еще этого права...

«О-го! — подумал я, — у него, видно, есть уже надежды...»

— Впрочем, для тебя же хуже, — продолжал Грушницкий, — теперь тебе трудно познакомиться с ними, — а жаль! это один из самых приятных домов, какие я только знаю...

Я внутренно улыбнулся.

— Самый приятный дом для меня теперь мой, — сказал я, зевая, и встал, чтоб идти.

— Однако признайся, ты раскаиваешься?..

— Какой вздор! если я захочу, то завтра же буду вечером у княгини...

— Посмотрим...

— Даже, чтоб тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной...

— Да, если она захочет говорить с тобой...

— Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит... Прощай!..

— А я пойду шататься, — я ни за что теперь не засну... Послушай, пойдем лучше в ресторан, там игра... мне нужны нынче сильные ощущения...

— Желаю тебе проиграться...

Я пошел домой.

*21-го мая.*

Прошла почти неделя, а я еще не познакомился с Лиговскими. Жду удобного случая. Грушницкий, как тень, следует за княжной везде; их разговоры

бесконечны: когда же он ей наскучит?.. Мать не обращает на это внимания, потому что он *не жених*. Вот логика матерей! Я подметил два, три нежные взгляда, — надо этому положить конец.

Вчера у колодца в первый раз явилась Вера... Она с тех пор, как мы встретились в гроте, не выходила из дома. Мы в одно время опустили стаканы, и, наклонясь, она мне сказала шепотом:

— Ты не хочешь познакомиться с Лиговскими?.. Мы только там можем видаться...

Упрек!.. скучно! Но я его заслужил...

Кстати: завтра бал по подписке в зале ресторации, и я буду танцевать с княжной мазурку.

*22-го мая.*

Зала ресторации превратилась в залу Благородного собрания. В девять часов все съехались. Княгиня с дочерью явилась из последних; многие дамы посмотрели на нее с завистью и недоброжелательством, потому что княжна Мери одевается со вкусом. Те, которые почитают себя здешними аристократками, утаив зависть, примкнулись к ней. Как быть? Где есть общество женщин, там сейчас явится высший и низший круг. Под окном, в толпе народа, стоял Грушницкий, прижав лицо к стеклу и не спуская глаз с своей богини; она, проходя мимо, едва приметно кивнула ему головой. Он просиял, как солнце... Танцы начались польским; потом заиграли вальс. Шпоры зазвенели, фалды поднялись и закружились.

Я стоял сзади одной толстой дамы, осененной розовыми перьями; пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладой кожи — счастливую эпоху мушек из черной тафты. Самая большая бородавка на ее шее прикрыта была ферму-

пром. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану:

— Эта княжна Лиговская пренесносная девчонка! Вообразите, толкнула меня и не извинилась, да еще обернулась и посмотрела на меня в лорнет... (C'est impayable!..<sup>1</sup> И чем она гордится? Уж ее надо бы проучить...

— За этим дело не станет! — отвечал услужливый капитан и отправился в другую комнату.

Я тотчас подошел к княжне, приглашая ее вальсировать, пользуясь свободой здешних обычаев, позволяющих танцевать с незнакомыми дамами.

Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество; ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид. Она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку набок, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой! Ее свежее дыхание касалось моего лица; иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горячей щеке моей... Я сделал три тура. (Она вальсирует удивительно хорошо.) Она запыхалась, глаза ее помутились, полуоткрытые губки едва могли прошептать необходимое: «Merci, monsieur»<sup>2</sup>.

После нескольких минут молчания я сказал ей, приняв самый покорный вид:

— Я слышал, княжна, что, будучи вам вовсе не знаком, я имел уже несчастье заслужить вашу немилость... что вы меня нашли дерзким... неужели это правда?

---

<sup>1</sup> Это презабавно!.. (фр.).

<sup>2</sup> Благодарю вас, сударь (фр.).

— И вам бы хотелось теперь меня утвердить в этом мнении? — отвечала она с иронической гримаской, которая, впрочем, очень идет к ее подвижной физиономии.

— Если я имел дерзость вас чем-нибудь оскорбить, то позвольте мне иметь еще большую дерзость просить у вас прощения... И, право, я бы очень желал доказать вам, что вы насчет меня ошибались...

— Вам это будет довольно трудно...

— Отчего же?..

— Оттого, что вы у нас не бываете, а эти балы, вероятно, не часто будут повторяться.

«Это значит, — подумал я, — что их двери для меня навеки закрыты».

— Знаете, княжна, — сказал я с некоторой досадой, — никогда не должно отвергать кающегося преступника: с отчаяния он может сделаться еще вдвое преступнее... и тогда...

Хохот и шушуканье нас окружающих заставили меня обернуться и прервать мою фразу. В нескольких шагах от меня стояла группа мужчин, и в их числе драгунский капитан, изъявивший враждебные намерения против милой княжны; он особенно был чем-то очень доволен, потирал руки, хохотал и перемигивался с товарищами. Вдруг из среды их отделился господин во фраке с длинными усами и красной рожей и направил неверные шаги свои прямо к княжне: он был пьян. Остановясь против смутившейся княжны и заложив руки за спину, он устал на нее мутно-серые глаза и произнес хриплым дишкантом:

— Пермете...<sup>1</sup> ну, да что тут!.. просто ангажирую вас на мазурку...

---

<sup>1</sup> Позвольте... (от фр. *permettez.*).

— Что вам угодно? — произнесла она дрожащим голосом, бросая кругом умоляющий взгляд. Увы! ее мать была далеко, и возле никого из знакомых ей кавалеров не было; один адъютант, кажется, все это видел, да спрятался за толпой, чтоб не быть замешану в историю.

— Что же? — сказал пьяный господин, мигнув драгунскому капитану, который ободрял его знаками, — разве вам не угодно?.. Я таки опять имею честь вас ангажировать pour mazure...<sup>1</sup> Вы, может, думаете, что я пьян? Это ничего!.. Гораздо свободнее, могу вас уверить...

Я видел, что она готова упасть в обморок от страха и негодования.

Я подошел к пьяному господину, взял его довольно крепко за руку и, посмотрев ему пристально в глаза, попросил удалиться, — потому, прибавил я, что княжна давно уж обещалась танцевать мазурку со мною.

— Ну, нечего делать!.. в другой раз! — сказал он, засмеявшись, и удалился к своим пристыженным товарищам, которые тотчас увели его в другую комнату.

Я был вознагражден глубоким, чудесным взглядом.

Княжна подошла к своей матери и рассказала ей все; та отыскала меня в толпе и благодарила. Она объявила мне, что знала мою мать и была дружна с полдюжиной моих тетушек.

— Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами незнакомы, — прибавила она, — но признайтесь, вы этому одни виною: вы дичитесь всех так, что ни на что не похоже. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин... Не правда ли?

---

<sup>1</sup> на мазурку... (фр.)

Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай.

Кадрили тянулись ужасно долго.

Наконец с хор загрелась мазурка; мы с княжной уселись.

Я не намекал ни разу ни о пьяном господине, ни о прежнем моем поведении, ни о Грушницком. Впечатление, произведенное на нее неприятною сценою, мало-помалу рассеялось; личико ее расцвело; она шутила очень мило; ее разговор был остер, без притязания на остроуту, жив и свободен; ее замечания иногда глубоки... Я дал ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мне давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснела.

— Вы странный человек! — сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись.

— Я не хотел с вами знакомиться, — продолжал я, — потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно.

— Вы напрасно боялись! Они все прескучные...

— Все! Неужели все?

Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и, наконец, произнесла решительно: *все!*

— Даже мой друг Грушницкий?

— А он ваш друг? — сказала она, показывая некоторое сомнение.

— Да.

— Он, конечно, не входит в разряд скучных...

— Но в разряд несчастных, — сказал я, смеясь.

— Конечно! А вам смешно? Я б желала, чтоб вы были на его месте...



— Что ж? я был сам некогда юнкером, и, право, это самое лучшее время моей жизни!

— А разве он юнкер?.. — сказала она быстро и потом прибавила: — А я думала...

— Что вы думали?..

— Ничего!.. Кто эта дама?

Тут разговор переменял направление и к этому уж более не возвращался.

Вот мазурка кончилась, и мы распростились — до свидания. Дамы разъехались... Я пошел ужинать и встретил Вернера.

— А-га! — сказал он, — так-то вы! А еще хотели не иначе знакомиться с княжной, как спасши ее от верной смерти.

— Я сделал лучше, — отвечал я ему, — спас ее от обморока на бале!..

— Как это? Расскажите!..

— Нет, отгадайте, — о вы, отгадывающий все на свете!

*23-го мая.*

Около семи часов вечера я гулял на бульваре. Грушницкий, увидев меня издали, подошел ко мне: какой-то смешной восторг блистал в его глазах. Он крепко пожал мне руку и сказал трагическим голосом:

— Благодарю тебя, Печорин... Ты понимаешь меня?..

— Нет; но, во всяком случае, не стоит благодарности, — отвечал я, не имея точно на совести никакого благодеяния.

— Как? А вчера? ты разве забыл?.. Мери мне все рассказала...

— А что? разве у вас уж нынче все общее? и благодарность?..

— Послушай, — сказал Грушницкий очень важно, — пожалуйста, не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем... Видишь: я ее люблю до безумия... и я думаю, я надеюсь, она также меня любит... У меня есть до тебя просьба: ты будешь нынче у них вечером; обещаю мне замечать все: я знаю, ты опытен в этих вещах, ты лучше меня знаешь женщин... Женщины! женщины! кто их поймет? Их улыбки противоречат их взорам, их слова обещают и манят, а звук их голоса отталкивает... То они в минуту постигают и угадывают самую потаенную нашу мысль, то не понимают самых ясных намеков... Вот хоть княжна: вчера ее глаза пылали страстью, останавливаясь на мне, нынче они тусклы и холодны...

— Это, может быть, следствие действия вод, — отвечал я.

— Ты во всем видишь худую сторону... матерьялист! — прибавил он презрительно. — Впрочем, переменим материю, — и, довольный плохим каламбуrom, он развеселился.

В девятом часу мы вместе пошли к княгине.

Проходя мимо окон Веры, я видел ее у окна. Мы кинули друг другу беглый взгляд. Она вскоре после нас вошла в гостиную Лиговских. Княгиня меня ей представила как своей родственнице. Пили чай; гостей было много; разговор был общий. Я старался понравиться княгине, шутил, заставлял ее несколько раз смеяться от души; княжне также не раз хотелось похохотать, но она удерживалась, чтоб не выйти из принятой роли: она находит, что томность к ней идет, — и, может быть, не ошибается. Грушницкий, кажется, очень рад, что моя веселость ее не заражает.

После чая все пошли в залу.

— Довольна ль ты моим послушанием, Вера? — сказал я, проходя мимо ее.

Она мне кинула взгляд, исполненный любви и благодарности. Я привык к этим взглядам; но некогда они составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепьяно; все просили ее спеть что-нибудь, — я молчал и, пользуясь суматохой, отошел к окну с Верой, которая мне хотела сказать что-то очень важное для нас обоих... Вышло — вздор...

Между тем княжне мое равнодушие было досадно, как я мог догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду... О, я удивительно понимаю этот разговор немой, но выразительный, краткий, но сильный!..

Она запела: ее голос недурен, но поет она плохо... Впрочем, я не слушал. Зато Грушницкий, облокотясь на рояль против нее, пожирал ее глазами и по минутно говорил вполголоса: «*Charmant! délicieux!*»<sup>1</sup>

— Послушай, — говорила мне Вера, — я не хочу, чтоб ты знакомился с моим мужем, но ты должен непременно понравиться княгине; тебе это легко: ты можешь все, что захочешь. Мы здесь только будем видеться...

— Только?..

Она покраснела и продолжала:

— Ты знаешь, что я твоя раба; я никогда не умела тебе противиться... и я буду за это наказана: ты меня разлюбишь! По крайней мере я хочу сберечь свою репутацию... не для себя: ты это знаешь очень хорошо!.. О, я прошу тебя: не мучь меня по-прежнему пустыми сомненьями и притворной холодностью: я, может быть, скоро умру, я чувствую, что слабею со дня на день... и, несмотря на это, я не могу думать о буду-

---

<sup>1</sup> Очаровательно! прелестно! (*фр.*)

щей жизни, я думаю только о тебе... Вы, мужчины, не понимаете наслаждений взора, пожатия руки... а я, клянусь тебе, я, прислушиваясь к твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркие поцелуи не могут заменить его.

Между тем княжна Мери перестала петь. Ропот похвал раздался вокруг нее; я подошел к ней после всех и сказал ей что-то насчет ее голоса довольно небрежно.

Она сделала гримаску, выдвинув нижнюю губу, и присела очень насмешливо.

— Мне это тем более лестно, — сказала она, — что вы меня вовсе не слушали; но вы, может быть, не любите музыки?..

— Напротив... после обеда особенно.

— Грушницкий прав, говоря, что у вас самые прозаические вкусы... и я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении...

— Вы ошибаетесь опять: я вовсе не гастроном: у меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет, а спать после обеда здорово: следовательно, я люблю музыку в медицинском отношении. Вечером же она, напротив, слишком раздражает мои нервы: мне делается или слишком грустно, или слишком весело. То и другое утомительно, когда нет положительной причины грустить или радоваться, и притом грусть в обществе смешна, а слишком большая веселость неприлична...

Она не дослушала, отошла прочь, села возле Грушницкого, и между ними начался какой-то сентиментальный разговор: кажется, княжна отвечала на его мудрые фразы довольно рассеянно и неудачно, хотя старалась показать, что слушает его со вниманием, потому что он иногда смотрел на нее с удив-

лением, стараясь угадать причину внутреннего волнения, изображавшегося иногда в ее беспокойном взгляде...

Но я вас отгадал, милая княжна, берегитесь! Вы хотите мне отплатить тою же монетою, кольнуть мое симолюбие, — вам не удастся! и если вы мне объявите войну, то я буду беспощаден.

В продолжение вечера я несколько раз нарочно старался вмешаться в их разговор, но она довольно сухо встречала мои замечания, и я с притворною досадою наконец удалился. Княжна торжествовала; Грушницкий тоже. Торжествуйте, друзья мои, торнитесь... вам недолго торжествовать!.. Как быть? у меня есть предчувствие... Знакомясь с женщиной, и всегда безошибочно отгадывал, будет она меня любить или нет...

Остальную часть вечера я провел возле Веры и дёсыта наговорился о старине... За что она меня так любит, право, не знаю! Тем более что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями... Неужели зло так привлекательно?..

Мы вышли вместе с Грушницким; на улице он взял меня под руку и после долгого молчания сказал: — Ну, что?

«Ты глуп», — хотел я ему ответить, но удержался и только пожал плечами.

*29-го мая.*

Все эти дни я ни разу не отступил от своей системы. Княжне начинает нравиться мой разговор; я рассказал ей некоторые из странных случаев моей жизни, и она начинает видеть во мне человека необыкновенного. Я смеюсь над всем на свете, особенно

над чувствами: это начинает ее пугать. Она при мне не смеет пускаться с Грушницким в сентиментальные прения и уже несколько раз отвечала на его выходы насмешливой улыбкой, но я всякий раз, как Грушницкий подходит к ней, принимаю смиренный вид и оставляю их вдвоем; в первый раз была она этому рада или старалась показать; во второй — рассердилась на меня; в третий — на Грушницкого.

— У вас очень мало самолюбия! — сказала она мне вчера. — Отчего вы думаете, что мне веселее с Грушницким?

Я отвечал, что жертвую счастию приятеля своим удовольствием...

— И моим, — прибавила она.

Я пристально посмотрел на нее и принял серьезный вид. Потом целый день не говорил с ней ни слова... Вечером она была задумчива, нынче поутру у колодца еще задумчивее. Когда я подошел к ней, она рассеянно слушала Грушницкого, который, кажется, восхищался природой, но только что завидела меня, она стала хохотать (очень некстати), показывая, будто меня не примечает. Я отошел подальше и украдкой стал наблюдать за ней: она отвернулась от своего собеседника и зевнула два раза... Решительно, Грушницкий ей надоел. Еще два дня не буду с ней говорить.

*3-го июня.*

Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? Вера меня любит больше, чем княжна Мери будет любить когда-нибудь; если б она мне казалась непобедимой кра-

свицей, то, может быть, я бы завлекся трудностью предприятия...

Но ничуть не бывало! Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы найдем такую, которая нас терпеть не может: тут начинается наше постоянство — истинная бесконечная страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство; секрет этой бесконечности — только в невозможности достигнуть цели, то есть конца.

Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить: «Мой друг, со мною было то же самое, и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез!»

А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось

в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, — не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее к действительности: идеи — создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара.

Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы; полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов: душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно; она знает,



что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается своей собственной жизнью, — лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие Божие.

Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко отвлекся от своего предмета... Но что за нужда?.. Ведь этот журнал пишу я для себя, и, следовательно, все, что я в него ни брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием.

\* \* \*

Пришел Грушницкий и бросился мне на шею, — он произведен в офицеры. Мы выпили шампанского. Доктор Вернер взошел вслед за ним.

— Я вас не поздравляю, — сказал он Грушницкому.

— Отчего?

— Оттого, что солдатская шинель к вам очень идет, и признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь, на водах, не придаст вам ничего интересного... Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общее правило.

— Толкуйте, толкуйте, доктор! вы мне не мешаете радоваться. Он не знает, — прибавил Грушницкий мне на ухо, — сколько надежд придали мне эти эполеты... О эполеты, эполеты! ваши звездочки, путеводительные звездочки... Нет! я теперь совершенно счастлив.

— Ты идешь с нами гулять к провалу? — спросил я его.

— Я? ни за что не покажусь княжне, пока не готов будет мундир.

— Прикажешь ей объявить о твоей радости?..

— Нет, пожалуйста, не говори... Я хочу ее удивить...

— Скажи мне, однако, как твои дела с нею?

Он смутился и задумался: ему хотелось похвастаться, солгать — и было совестно, а вместе с этим было стыдно признаться в истине.

— Как ты думаешь, любит ли она тебя?

— Любит ли? Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия!.. как можно так скоро?.. Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет...

— Хорошо! И, вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти?..

— Эх, братец! на все есть манера; многое не говорится, а отгадывается...

— Это правда... Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает, тогда как слова... Берегись, Грушницкий, она тебя надувает...

— Она?.. — отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улынувшись, — мне жаль тебя, Печорин!..

Он ушел.

Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу.

По мнению здешних ученых, этот провал не что иное, как угасший кратер; он находится на отлогости Машука, в версте от города. К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал; взбираясь на гору, я подал руку княжне, и она ее не покидала в продолжение целой прогулки.

Разговор наш начался злословием: я стал перебирать присутствующих и отсутствующих наших знакомых, сначала выказывал смешные, а после дурные их стороны. Желчь моя взволновалась. Я начал

шутя — и окончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом испугало.

— Вы опасный человек! — сказала она мне, — и бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок... Я вас прошу не шутя: когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня, — я думаю, это вам не будет очень трудно.

— Разве я похож на убийцу?..

— Вы хуже...

Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид:

— Да, такова была моя участь с самого детства! Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромн — меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, — другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, — меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неумоимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние — не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой: одна поло-

вина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, — тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины; но вы теперь во мне разбудили воспоминание о ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение: если моя выходка вам кажется смешна — пожалуйста, смейтесь: предупреждаю вас, что это меня не огорчит нимало.

В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы; рука ее, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали; ей было жаль меня! Сострадание — чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала, — а это великий признак!

Мы пришли к провалу; дамы оставили своих кавалеров, но она не покидала руки моей. Остроты здешних денди ее не смешили; крутизна обрыва, у которого она стояла, ее не пугала, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза.

На возвратном пути я не возобновлял нашего печального разговора; но на пустые мои вопросы и шутки она отвечала коротко и рассеянно.

— Любили ли вы? — спросил я ее наконец.

Она посмотрела на меня пристально, покачала головой — и опять впала в задумчивость: явно было, что ей хотелось что-то сказать, но она не знала, с чего начать; ее грудь волновалась... Как быть! кисейный рукав слабая защита, и электрическая искра пробежала из моей руки в ее руку; все почти страсти начинаются

тик, и мы часто себя очень обманываем, думая, что нас женщина любит за наши физические или нравственные достоинства; конечно, они приготавливают, располагают ее сердце к принятию священного огня, и все-таки первое прикосновение решает дело.

— Не правда ли, я была очень любезна сегодня? — сказала мне княжна с принужденной улыбкой, когда мы возвратились с гулянья.

Мы расстались.

Она недовольна собой; она себя обвиняет в холодности... О, это первое, главное торжество! Завтра она захочет вознаградить меня. Я все это уж знаю наизусть — вот что скучно!

*4-го июня.*

Нынче я видел Веру. Она замучила меня своею ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей поверять свои сердечные тайны: надо признаться, удачный выбор!

— Я отгадываю, к чему все это клонится, — говорила мне Вера, — лучше скажи мне просто теперь, что ты ее любишь.

— Но если я ее не люблю?

— То зачем же ее преследовать, тревожить, волновать ее воображение?.. О, я тебя хорошо знаю! Послушай, если ты хочешь, чтоб я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск; послезавтра мы переезжаем туда. Княгиня остается здесь дольше. Найми квартиру рядом; мы будем жить в большом доме близ источника, в мезонине; внизу княгиня Лиговская, а рядом есть дом того же хозяина, который еще не занят... Приедешь?..

Я обещал — и тот же день послал занять эту квартиру.

Грушницкий пришел ко мне в шесть часов вечера и объявил, что завтра будет готов его мундир, как раз к балу.

— Наконец я буду с нею танцевать целый вечер... Вот наговорюсь! — прибавил он.

— Когда же бал?

— Да завтра! Разве не знаешь? Большой праздник, и здешнее начальство взялось его устроить...

— Пойдем на бульвар...

— Ни за что, в этой гадкой шинели...

— Как, ты ее разлюбил?..

Я ушел один, и, встретив княжну Мери, позвал ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована.

— Я думала, что вы танцуете только по необходимости, как прошлый раз, — сказала она, очень мило улыбаясь...

Она, кажется, вовсе не замечает отсутствия Грушницкого.

— Вы будете завтра приятно удивлены, — сказал я ей.

— Чем?..

— Это секрет... на бале вы сами догадаетесь.

Я окончил вечер у княгини; гостей не было, кроме Веры и одного презабавного старичка. Я был в духе, импровизировал разные необыкновенные истории; княжна сидела против меня и слушала мой вздор с таким глубоким, напряженным, даже нежным вниманием, что мне стало совестно. Куда девалась ее живость, ее кокетство, ее капризы, ее дерзкая мина, презрительная улыбка, рассеянный взгляд?..

Вера все это заметила: на ее болезненном лице изображалась глубокая грусть; она сидела в тени у окна, погружаясь в широкие кресла... Мне стало жаль ее...

Тогда я рассказал всю драматическую историю нашего знакомства с нею, нашей любви, — разумеется, прикрыв все это вымышленными именами.

Я так живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, восторги; я в таком выгодном свете выставил ее поступки, характер, что она поневоле должна была простить мне мое кокетство с княжной.

Она встала, подсела к нам, оживилась... и мы только в два часа ночи вспомнили, что доктора велят лечь спать в одиннадцать.

*5-го июня.*

За полчаса до бала явился ко мне Грушницкий в полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной лорнет; эполеты несомненной величины были загнуты кверху в виде крылышек амура; сапоги его скрипели; в левой руке держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правую взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол. Самодовольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на его лице; его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если бы это было согласно с моими намерениями.

Он бросил фуражку с перчатками на стол и начал обтягивать фалды и поправляться перед зеркалом; черный огромный платок, наверхнутый на высочайший подгалстушник, которого щетина поддерживала его подбородок, высовывался на полвершка из-за воротника; ему показалось мало: он вытащил его кверху до ушей; от этой трудной работы, — ибо воротник мундира был очень узок и беспокоен, — лицо его налилось кровью.

— Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моей княжной? — сказал он довольно небрежно и не глядя на меня.

— Где нам, дуракам, чай пить! — отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным.

— Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир?.. Ох, проклятый жид!.. как под мышками режет!.. Нет ли у тебя духов?

— Помилуй, чего тебе еще? от тебя и так уж несет розовой помадой...

— Ничего. Дай-ка сюда...

Он налил себе полсклянки за галстук, в носовой платок, на рукава.

— Ты будешь танцевать? — спросил он.

— Не думаю.

— Я боюсь, что мне с княжной придется начинать мазурку, — я не знаю почти ни одной фигуры...

— А ты звал ее на мазурку?

— Нет еще...

— Смотри, чтоб тебя не предупредили...

— В самом деле? — сказал он, ударив себя по лбу. — Прощай... пойду дожидаться ее у подъезда. — Он схватил фуражку и побежал.

Через полчаса и я отправился. На улице было темно и пусто; вокруг Собрания или трактира, как угодно, теснился народ; окна его светились; звуки полковой музыки доносил ко мне вечерний ветер. Я шел медленно; мне было грустно... Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды? С тех пор как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни



умереть, ни прийти в отчаяние! Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?.. Уж не назначен ли я ею в сочинители меццанских трагедий и семейных романов — или и сотрудники поставщику повестей, например, для «Библиотеки для чтения»?.. Почему знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками?..

Взойдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и начал делать свои наблюдения. Грушницкий стоял возле княжны и что-то говорил с большим жаром; она его рассеянно слушала, смотрела по сторонам, приложив веер к губкам; на лице ее изображалось нетерпение, глаза ее искали кругом кого-то; я тихонько подошел сзади, чтоб подслушать их разговор.

— Вы меня мучите, княжна! — говорил Грушницкий, — вы ужасно переменились с тех пор, как я вас не видал...

— Вы также переменились, — отвечала она, бросив на него быстрый взгляд, в котором он не умел разобрать тайной насмешки.

— Я? я переменялся?.. О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто видел вас однажды, тот навеки унесет с собою ваш божественный образ.

— Перестаньте...

— Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно, и так часто, внимали благосклонно?..

— Потому что я не люблю повторений, — отвечала она, смеясь...

— О, я горько ошибся!.. Я думал, безумный, что по крайней мере эти эпoletы дадут мне право надеяться... Нет, лучше бы мне век остаться в этой пре-

зренной солдатской шинели, которой, может быть, и был обязан вашим вниманием...

— В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу...

В это время я подошел и поклонился княжне; она немножко покраснела и быстро проговорила:

— Не правда ли, мсье Печорин, что серая шинель гораздо больше идет к мсье Грушницкому?..

— Я с вами не согласен, — отвечал я, — в мундире он еще моложавее.

Грушницкий не вынес этого удара: как все мальчишки, он имеет претензию быть стариком; он думает, что на его лице глубокие следы страстей заменяют отпечаток лет. Он на меня бросил бешеный взгляд, топнул ногою и отошел прочь.

— А признайтесь, — сказал я княжне, — что хотя он всегда был очень смешон, но еще недавно он вам казался интересен... в серой шинели?..

Она потупила глаза и не отвечала.

Грушницкий целый вечер преследовал княжну, танцевал или с нею, или vis-a-vis; он пожирал ее глазами, вздыхал и надоедал ей мольбами и упреками. После третьей кадрили она его уж ненавидела.

— Я этого не ожидал от тебя, — сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку.

— Чего?

— Ты с нею танцуешь мазурку? — спросил он торжественным голосом. — Она мне призналась.

— Ну, так что ж? А разве это секрет?

— Разумеется... Я должен был этого ожидать от девчонки... от кокетки... Уж я отомщу!

— Пеняй на свою шинель или на свои эполеты, а зачем же обвинять ее? Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься?..

- Зачем же подавать надежды?

- Зачем же ты надеялся? Желать и добиваться чего-нибудь — понимаю, а кто ж надеется?

- Ты выиграл пари — только не совсем, — сказал он, злобно улыбаясь.

Мазурка началась. Грушницкий выбирал одну только княжну, другие кавалеры поминутно ее выбирали; это явно был заговор против меня; тем лучше: ей хочется говорить со мною, ей мешают, — ей хочется вдвое более.

Я раза два пожал ее руку; во второй раз она ее выдернула, не говоря ни слова.

— Я дурно буду спать эту ночь, — сказала она мне, когда мазурка кончилась.

— Этому виноват Грушницкий.

— О нет! — И лицо ее стало так задумчиво, так грустно, что я дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать ее руку.

Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я быстро прижал ее маленькую ручку к губам своим. Было темно, и никто не мог этого видеть.

Я возвратился в залу очень доволен собою.

За большим столом ужинала молодежь, и между ними Грушницкий. Когда я вошел, все замолчали: видно, говорили обо мне. Многие с прошедшего бала на меня дуются, особенно драгунский капитан, а теперь, кажется, решительно составляется против меня враждебная шайка под командой Грушницкого. У него такой гордый и храбрый вид...

Очень рад; я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним

толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание из хитростей и замыслов, — вот что я называю жизнью.

В продолжение ужина Грушницкий шептался и перемигивался с драгунским капитаном.

*6-го июня.*

Нынче поутру Вера уехала с мужем в Кисловодск. Я встретил их карету, когда шел к княгине Лиговской. Она мне кивнула головой: во взгляде ее был упрек.

Кто ж виноват? зачем она не хочет дать мне случай видеться с нею наедине? Любовь, как огонь, — без пищи гаснет. Авось ревность сделает то, чего не могли мои просьбы.

Я сидел у княгини битый час. Мери не вышла, — больна. Вечером на бульваре ее не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная лорнетами, приняла в самом деле грозный вид. Я рад, что княжна больна: они сделали бы ей какую-нибудь дерзость. У Грушницкого растрепанная прическа и отчаянный вид; он, кажется, в самом деле огорчен, особенно самолюбие его оскорблено; но ведь есть же люди, в которых даже отчаяние забавно!..

Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то недостает. *Я не видал ее! Она больна! Уж не влюбился ли я в самом деле?.. Какой вздор!*

*7-го июня.*

В одиннадцать часов утра, — час, в который княгиня Лиговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне, — я шел мимо ее дома. Княжна сидела задумчиво у окна; увидев меня, вскочила.

И вошел в переднюю; людей никого не было, и я доклада, пользуясь свободой здешних нравов, сбрался в гостиную.

Тусклая бледность покрывала милое лицо княжны. Она стояла у фортепьяно, опершись одной рукой спинку кресел: эта рука чуть-чуть дрожала; я тихо подошел к ней и сказал:

— Вы на меня сердитесь?..

Она подняла на меня томный, глубокий взор покачала головой; ее губы хотели проговорить что-то — и не могли; глаза наполнились слезами; она опустилась в кресла и закрыла лицо руками.

— Что с вами? — сказал я, взяв ее за руку.

— Вы меня не уважаете!.. О! оставьте меня!..

Я сделал несколько шагов... Она выпрямилась в креслах, глаза ее засверкали...

Я остановился, взявшись за ручку двери, и сказал:

— Простите меня, княжна! Я поступил как бездельник... этого в другой раз не случится: я приму свои меры... Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей? Вы этого никогда не узнаете, и тем лучше для вас. Прощайте.

Уходя, мне кажется, я слышал, что она плакала.

Я до вечера бродил пешком по окрестностям Манука, утомился ужасно и, пришедши домой, бросился на постель в совершенном изнеможении.

Ко мне зашел Вернер.

— Правда ли, — спросил он, — что вы женитесь на княжне Лиговской?

— А что?

— Весь город говорит; все мои больные заняты этой важной новостью, а уж эти больные такой народ! все знают!

«Это штуки Грушницкого!» — подумал я.

— Чтоб вам доказать, доктор, ложность этих слухов, объявляю вам по секрету, что завтра я переезжаю в Кисловодск...

— И княгиня также?..

— Нет, она остается еще на неделю здесь...

— Так вы не женитесь?..

— Доктор, доктор! посмотрите на меня: неужели я похож на жениха или на что-нибудь подобное?

— Я этого не говорю... Но вы знаете, есть случаи... — прибавил он, хитро улыбаясь, — в которых благородный человек обязан жениться, и есть маменьки, которые по крайней мере не предупреждают этих случаев... Итак, я вам советую, как приятель, быть осторожнее. Здесь, на водах, преопасный воздух: сколько я видел прекрасных молодых людей, достойных лучшей участи и уезжавших отсюда прямо под венец... Даже, поверите ли, меня хотели женить! Именно одна уездная маменька, у которой дочь была очень бледна. Я имел несчастье сказать ей, что цвет лица возвратится после свадьбы; тогда она со слезами благодарности предложила мне руку своей дочери и все свое состояние — пятьдесят душ, кажется. Но я отвечал, что я к этому не способен...

Вернер ушел в полной уверенности, что он меня предостерег.

Из слов его я заметил, что про меня и княжну уж распущены в городе разные дурные слухи: это Грушницкому даром не пройдет!

*10-го июня.*

Вот уж три дни, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру у колодца и на гулянье. Утром, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнет на ее балкон; она давно уж одета и ждет условленного знака;

мы встречаемся, будто нечаянно, в саду, который от  
ниших домов спускается к колодцу. Живительный  
горный воздух возвратил ей цвет лица и силы. Неда-  
ром Нарзан называется богатырским ключом. Здеш-  
ние жители утверждают, что воздух Кисловодска  
располагает к любви, что здесь бывают развязки всех  
романов, которые когда-либо начинались у подошвы  
Машука. И в самом деле, здесь все дышит уединени-  
ем; здесь все таинственно — и густые сени липовых  
аллей, склоняющихся над потоком, который с шу-  
мом и пеною, падая с плиты на плиту, прорезыва-  
ет себе путь между зеленеющими горами, и ущелья,  
полные мглою и молчанием, которых ветви разбега-  
ются отсюда во все стороны, и свежесть ароматиче-  
ского воздуха, отягощенного испарениями высоких  
южных трав и белой акации, и постоянный, сладост-  
но-усыпительный шум студеных ручьев, которые,  
истреться в конце долины, бегут дружно взапуски  
и наконец кидаются в Подкумок. С этой стороны  
ущелье шире и превращается в зеленую лощину; по  
ней вьется пыльная дорога. Всякий раз, как я на нее  
взгляну, мне все кажется, что едет карета, а из окна  
кареты выглядывает розовое личико. Уж много кар-  
ет проехало по этой дороге, — а той все нет. Слобод-  
ка, которая за крепостью, населилась; в ресторации,  
построенной на холме, в нескольких шагах от моей  
квартиры, начинают мелькать вечером огни сквозь  
двойной ряд тополей; шум и звон стаканов раздают-  
ся до поздней ночи.

Нигде так много не пьют кахетинского вина и ми-  
неральной воды, как здесь.

Но смешивать два эти ремесла

Есть тьма охотников — я не из их числа.

Грушницкий с своей шайкой бушует каждый день в трактире и со мной почти не кланяется.

Он только вчера приехал, а успел уже поссориться с тремя стариками, которые хотели прежде его сесть в ванну: решительно — несчастья развивают в нем воинственный дух.

*11-го июня.*

Наконец они приехали. Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты: у меня сердце вздрогнуло... Что же это такое? Неужто я влюблен? Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать.

Я у них обедал. Княгиня на меня смотрит очень нежно и не отходит от дочери... плохо! Зато Вера ревнует меня к княжне: добился же я этого благополучия! Чего женщина не сделает, чтоб огорчить соперницу? Я помню, одна меня полюбила за то, что я любил другую. Нет ничего парадоксальнее женского ума: женщин трудно убедить в чем-нибудь, надо их довести до того, чтоб они убедили себя сами; порядок доказательств, которыми они уничтожают свои предубеждения, очень оригинален; чтобы выучиться их диалектике, надо опрокинуть в уме своем все школьные правила логики. Например, способ обыкновенный:

Этот человек любит меня; но я замужем: следовательно, не должна его любить.

Способ женский:

Я не должна его любить, ибо я замужем; но он меня любит, — следовательно...

Тут несколько точек, ибо рассудок уже ничего не говорит, а говорят большею частью: язык, глаза и вслед за ними сердце, если оное имеется.

Что, если когда-нибудь эти записки попадутся на



глаза женщине? «Клевета!» — закричит она с негодованием.

С тех пор как поэты пишут и женщины их читают (за что им глубочайшая благодарность), их столько раз называли ангелами, что они в самом деле, в простоте душевной, поверили этому комплименту, забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона полубогом...

Не кстати было бы мне говорить о них с такою злостью, — мне, который, кроме их, на свете ничего не любил, — мне, который всегда готов был им жертвовать спокойствием, честолубием, жизнью... Но ведь я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия стараюсь сдернуть с них то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взор проникает. Нет, все, что я говорю о них, есть только следствие

Ума холодных наблюдений  
И сердца горестных замет.

Женщины должны бы желать, чтоб все мужчины их так же хорошо знали, как я, потому что я люблю их во сто раз больше с тех пор, как их не боюсь и постиг их мелкие слабости.

Кстати: Вернер намерен сравнил женщин с заколдованным лесом, о котором рассказывает Тасс в своем «Освобожденном Иерусалиме». «Только приступи, — говорил он, — на тебя полетят со всех сторон такие страхи, что Боже упаси: долг, гордость, приличие, общее мнение, насмешка, презрение... Надо только не смотреть, а идти прямо, — мало-помалу чудовища исчезают, и открывается пред тобой тихая и светлая поляна, среди которой цветет зеленый мирт. Зато беда, если на первых шагах сердце дрогнет и обернешься назад!»

12-го июня.

Сегодняшний вечер был обилён происшествиями. Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая *Кольцом*; это — ворота, образованные природой; они поднимаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Никто из нас, по правде сказать, не думал о солнце. Я ехал возле княжны; возвращаясь домой, надо было переезжать Подкумок вброд. Горные речки, самые мелкие, опасны, особенно тем, что дно их — совершенный калейдоскоп: каждый день от напора волн оно изменяется; где был вчера камень, там нынче яма. Я взял под уздцы лошадь княжны и свел ее в воду, которая не была выше колен; мы тихонько стали подвигаться наискось против течения. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предупредить княжну Мери.

Мы были уже на середине, в самой быстрине, когда она вдруг на седле покачнулась. «Мне дурно!» — проговорила она слабым голосом... Я быстро наклонился к ней, обвил рукою ее гибкую талию. «Смотрите наверх! — шепнул я ей, — это ничего, только не бойтесь; я с вами».

Ей стало лучше; она хотела освободиться от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный, мягкий стан; моя щека почти касалась ее щеки; от нее веяло пламенем.

— Что вы со мною делаете?.. Боже мой!..

Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щечки; она вздрог-

нула, но ничего не сказала; мы ехали сзади: никто не видал. Когда мы выбрались на берег, то все пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возле нее; видно было, что ее беспокоило мое молчание, но я поклялся не говорить ни слова — из любопытства. Мне хотелось видеть, как она выпутается из этого затруднительного положения.

— Или вы меня презираете, или очень любите! — сказала она наконец голосом, в котором были слезы. — Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу и потом оставить... Это было бы так подло, так низко, что одно предположение... О нет! не правда ли, — прибавила она голосом нежной доверенности, — не правда ли, во мне нет ничего такого, что бы исключало уважение? Ваш дерзкий поступок... я должна, я должна вам его простить, потому что позволила... Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос!.. — В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся; к счастью, начинало смеркаться... Я ничего не отвечал.

— Вы молчите? — продолжала она, — вы, может быть, хотите, чтоб я первая вам сказала, что я вас люблю?..

Я молчал...

— Хотите ли этого? — продолжала она, быстро обратясь ко мне... В решительности ее взора и голоса было что-то страшное...

— Зачем? — отвечал я, пожав плечами.

Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой, опасной дороге; это произошло так скоро, что я едва мог ее догнать, и то, когда уж она присоединилась к остальному обществу. До самого дома она говорила и смеялась поминутно.

В ее движениях было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Все заметили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренне радовалась, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервический припадок: она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение: есть минуты, когда я понимаю Вампира... А еще слышу добрым малым и добиваюсь этого названия!

Слезши с лошадей, дамы вошли к княгине; я был взволнован и поскакал в горы развеять мысли, толпившиеся в голове моей. Росистый вечер дышал упоительной прохладой. Луна подымалась из-за темных вершин. Каждый шаг моей некованой лошади глухо раздавался в молчании ущелий; у водопада я напоил коня, жадно вдохнул в себя раза два свежий воздух южной ночи и пустился в обратный путь. Я ехал через слободку. Огни начинали угасать в окнах; часовые на валу крепости и казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались...

В одном из домов слободки, построенном на краю оврага, заметил я чрезвычайное освещение; по временам раздавался нестройный говор и крики, изобличавшие военную пирушку. Я слез и подкрался к окну; неплотно притворенный ставень позволил мне видеть пирующих и расслушать их слова. Говорили обо мне.

Драгунский капитан, разгоряченный вином, ударил по столу кулаком, требуя внимания.

— Господа! — сказал он, — это ни на что не похоже. Печорина надо проучить! Эти петербургские слётки всегда зазнаются, пока их не ударишь по носу! Он думает, что он только один и жил в свете, оттого что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги.

— И что за надменная улыбка! А я уверен между тем, что он трус, — да, трус!

— Я думаю то же, — сказал Грушницкий. — Он любит отшучиваться. Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте, а Печорин все обратил в смешную сторону. Я, разумеется, что не вызвал, потому что это было его дело; да не хотел и связываться...

— Грушницкий на него зол за то, что он отбил у него княжну, — сказал кто-то.

— Вот еще что вздумали! Я, правда, немножко полочился за княжной, да и тотчас отстал, потому что не хочу жениться, а компрометировать девушку не в моих правилах.

— Да я вас уверяю, что он первейший трус, то есть Печорин, а не Грушницкий, — о, Грушницкий молодец, и притом он мой истинный друг! — сказал опять драгунский капитан. — Господа! никто здесь его не защищает? Никто? тем лучше! Хотите испытать его храбрость? Это нас позабавит...

— Хотим; только как?

— А вот слушайте: Грушницкий на него особенно сердит — ему первая роль! Он придерется к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль... Погодите; вот в этом-то и штука... Вызовет на дуэль: хорошо! Все это — вызов, приготовления, условия — будет как можно торжественнее и ужаснее, — я за это берусь; я буду твоим секундантом, мой бедный друг! Хорошо! Только вот где закорючка: в пистолеты мы не положим пуль. Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит, — на шести шагах их поставлю, черт возьми! Согласны ли, господа?

— Славно придумано! согласны! почему же нет? — раздалось со всех сторон.

— А ты, Грушницкий?

Я с трепетом ждал ответа Грушницкого; холодная злость овладела мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Если б Грушницкий не согласился, я бросил бы ему на шею. Но после некоторого молчания он встал с своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно: «Хорошо, я согласен».

Трудно описать восторг всей честной компании.

Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть. «За что они все меня ненавидят? — думал я. — За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. Неужели я принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порождает недоброжелательство?» И я чувствовал, что ядовитая злость мало-помалу наполняла мою душу. «Берегитесь, господин Грушницкий! — говорил я, прохаживаясь взад и вперед по комнате. — Со мной этак не шутят. Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Я вам не игрушка!..»

Я не спал всю ночь. К утру я был желт, как померанец.

Поутру я встретил княжну у колодца.

— Вы больны? — сказала она, пристально посмотрев на меня.

— Я не спал ночь.

— И я также... я вас обвиняла... может быть, напрасно? Но объяснитесь, я могу вам простить все...

— Все ли?..

— Все... только говорите правду... только скорее... Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение; может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родных... это ничего; когда они узнают... (ее голос задрожал) я их упрошу. Или ваше собственное положение... но

скажите, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю... О, отвечайте скорее, сжальтесь... Вы меня не презираете, не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Княгиня шла впереди нас с мужем Веры и ничего не видала: но нас могли видеть гуляющие больные, слышые любопытные сплетники из всех любопытных, и я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатия.

— Я вам скажу всю истину, — отвечал я княжне, — не буду оправдываться, ни объяснять своих поступков; я вас не люблю.

Ее губы слегка побледнели...

— Оставьте меня, — сказала она едва внятно.

Я пожал плечами, повернулся и ушел.

*14-го июня.*

Я иногда себя презираю... не оттого ли я презираю и других?.. Я стал не способен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне son coeur et sa fortune<sup>1</sup>; но надо мною слово *жениться* имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться, — прости любовь! мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? что мне в ней?.. куда я себя готовлю? чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчув-

---

<sup>1</sup> руку и сердце (*фр.*).

ствии... Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей... Признаться ли?.. Когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мне *смерть от злой жены*; это меня тогда глубоко поразило; в душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе... Между тем что-то мне говорит, что ее предсказание сбудется; по крайней мере буду стараться, чтоб оно сбылось как можно позже.

*15-го июня.*

Вчера приехал сюда фокусник *Апфельбаум*. На дверях ресторации явилась длинная афишка, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышеименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик будет иметь честь дать великолепное представление сегодняшнего числа в восемь часов вечера, в зале Благородного собрания (иначе — в ресторации); билеты по два рубля с полтиной.

Все собираются идти посмотреть удивительного фокусника; даже княгиня Лиговская, несмотря на то что дочь ее больна, взяла для себя билет.

Нынче после обеда я шел мимо окон Веры; она сидела на балконе одна; к ногам моим упала записка:

«Сегодня в десятом часу вечера приходи ко мне по большой лестнице; муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме: я им всем раздала билеты, также и людям княгини. Я жду тебя; приходи непременно».

«А-га! — подумал я, — наконец-таки вышло по моему».

В восемь часов пошел я смотреть фокусника. Публика собралась в исходе девятого; представление



началось. В задних рядах стульев узнал я лакеев и горничных Веры и княгини. Все были тут наперечет. Грушницкий сидел в первом ряду с лорнетом. Фокусник обращался к нему всякий раз, как ему нужен был носовой платок, часы, кольцо и прочее.

Грушницкий мне не кланяется уже несколько времени, а нынче раза два посмотрел на меня довольно дерзко. Все это ему припомнится, когда нам придется расплачиваться.

В исходе десятого я встал и вышел.

На дворе было темно, хоть глаз выколи. Тяжелые, холодные тучи лежали на вершинах окрестных гор: лишь изредка умирающий ветер шумел вершинами тополей, окружающих ресторацию; у окон ее толпился народ. Я спустился с горы и, повернув в ворота, прибавил шагу. Вдруг мне показалось, что кто-то идет за мной. Я остановился и осмотрелся. В темноте ничего нельзя было разобрать; однако я из осторожности обошел, будто гуляя, вокруг дома. Проходя мимо окон княжны, я услышал снова шаги за собою; человек, завернутый в шинель, пробежал мимо меня. Это меня встревожило; однако я прокрался к крыльцу и поспешно взбежал на темную лестницу. Дверь открылась; маленькая ручка схватила мою руку...

— Никто тебя не видал? — сказала шепотом Вера, прижавшись ко мне.

— Никто!

— Теперь ты веришь ли, что я тебя люблю? О, я долго колебалась, долго мучилась... но ты из меня делаешь все, что хочешь.

Ее сердце сильно билось, руки были холодны как лед. Начались упреки, ревности, жалобы, — она требовала от меня, чтоб я ей во всем признался, говоря,

что она с покорностью перенесет мою измену, потому что хочет единственно моего счастья. Я этому не совсем верил, но успокоил ее клятвами, обещаниями и прочее.

— Так ты не женишься на Мери? не любишь ее?.. А она думает... знаешь ли, она влюблена в тебя до безумия, бедняжка!..

\* \* \*

Около двух часов пополуночи я отворил окно и, связав две шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Что-то меня толкнуло к этому окну. Занавес был не совсем задернут, и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мери сидела на своей постели, скрестив на коленях руки; ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами; большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики, ее маленькие ножки прятались в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь; перед нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко...

В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом. Я спрыгнул с балкона на дерн. Невидимая рука схватила меня за плечо.

— Ага! — сказал грубый голос, — попался!.. будешь у меня к княжнам ходить ночью!..

— Держи его крепче! — закричал другой, выскочивший из-за угла.

Это были Грушницкий и драгунский капитан.

Я ударил последнего по голове кулаком, сшиб его с ног и бросился в кусты. Все тропинки сада, покры-

нившего отлогость против наших домов, были мне известны.

— Воры! караул!.. — кричали они; раздался ружейный выстрел; дымящийся пыж упал почти к моим ногам.

Через минуту я был уже в своей комнате, разделся и лег. Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушницкий и капитан.

— Печорин! вы спите? здесь вы?.. — закричал капитан.

— Сплю, — отвечал я сердито.

— Вставайте! воры... черкесы.

— У меня насморк, — отвечал я, — боюсь простудиться.

Они ушли. Напрасно я им откликнулся: они еще с час проискали меня в саду. Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось; стали искать черкесов во всех кустах — и, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если бы гарнизон показал более храбрости и поспешности, то по крайней мере десятка два хищников остались бы на месте.

*16-го июня.*

Нынче поутру у колодца только и было толков что о ночном нападении черкесов. Выпивши положенное число стаканов нарзана, пройдясь раз десять по длинной липовой аллее, я встретил мужа Веры, который только что приехал из Пятигорска. Он взял меня под руку, и мы пошли в ресторацию завтракать; он ужасно беспокоился о жене. «Как она перепугалась нынче ночью! — говорил он, — ведь надобно ж, чтоб это случилось именно тогда, как я в отсутствии». Мы уселись завтракать возле двери,

ведущей в угловую комнату, где находилось человек десять молодежи, в числе которой был и Грушницкий. Судьба вторично доставила мне случай подслушать разговор, который должен был решить его участь. Он меня не видал, и, следовательно, я не мог подозревать умысла; но это только увеличивало его вину в моих глазах.

— Да неужели в самом деле это были черкесы? — сказал кто-то, — видел ли их кто-нибудь?

— Я вам расскажу всю историю, — отвечал Грушницкий, — только, пожалуйста, не выдавайте меня; вот как это было: вчера один человек, которого я вам не назову, приходит ко мне и рассказывает, что видел в десятом часу вечера, как кто-то прокрался в дом к Лиговским. Надо вам заметить, что княгиня была здесь, а княжна дома. Вот мы с ним и отправились под окна, чтоб подстеречь счастливец.

Признаюсь, я испугался, хотя мой собеседник очень был занят своим завтраком: он мог услышать вещи для себя довольно неприятные, если б неравно Грушницкий отгадал истину; но, ослепленный ревностью, он и не подозревал ее.

— Вот видите ли, — продолжал Грушницкий, — мы и отправились, взявши с собой ружье, заряженное холостым патроном, только так, чтоб попугать. До двух часов ждали в саду. Наконец — уж Бог знает откуда он явился, только не из окна, потому что оно не отворялось, а должно быть, он вышел в стеклянную дверь, что за колонной, — наконец, говорю я, видим мы, сходит кто-то с балкона... Какова княжна? а? Ну, уж признаюсь, московские барышни! После этого чему же можно верить? Мы хотели его схватить, только он вырвался и, как заяц, бросился в кусты; тут я по нем выстрелил.

Вокруг Грушницкого раздался ропот недоверчивости.

— Вы не верите? — продолжал он, — даю вам честное, благородное слово, что все это суцая правда, и в доказательство я вам, пожалуй, назову этого господина.

— Скажи, скажи, кто ж он! — раздалось со всех сторон.

— Печорин, — отвечал Грушницкий.

В эту минуту он поднял глаза — я стоял в дверях против него; он ужасно покраснел. Я подошел к нему и сказал медленно и внятно:

— Мне очень жаль, что я взошел после того, как вы уже дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости.

Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться.

— Прошу вас, — продолжал я тем же тоном, — прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов; вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтоб равнодушие женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Подумайте хорошенько: поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью.

Грушницкий стоял передо мною, опустив глаза, в сильном волнении. Но борьба совести с самолюбием была непродолжительна. Драгунский капитан, сидевший возле него, толкнул его локтем; он вздрогнул и быстро отвечал мне, не поднимая глаз:

— Милостивый государь, когда я что говорю, так я это думаю и готов повторить... Я не боюсь ваших угроз и готов на все.

— Последнее вы уж доказали, — отвечал я ему холодно и, взяв под руку драгунского капитана, вышел из комнаты.

— Что вам угодно? — спросил капитан.

— Вы приятель Грушницкого — и, вероятно, будете его секундантом?

Капитан поклонился очень важно.

— Вы отгадали, — отвечал он, — я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне: я был с ним вчера ночью, — прибавил он, выпрямляя свой сутуловатый стан.

— А! так это вас ударил я так неловко по голове?..

Он пожелтел, посинел; скрытая злоба изобразилась на лице его.

— Я буду иметь честь прислать к вам нонче моего секунданта, — прибавил я, раскланявшись очень вежливо и показывая вид, будто не обращаю внимания на его бешенство.

На крыльце ресторации я встретил мужа Веры. Кажется, он меня дожидался.

Он схватил мою руку с чувством, похожим на восторг.

— Благородный молодой человек! — сказал он, с слезами на глазах. — Я все слышал. Экой мерзавец! неблагодарный!.. Принимай их после этого в порядочный дом! Слава Богу, у меня нет дочерей! Но вас наградит та, для которой вы рискуете жизнью. Будьте уверены в моей скромности до поры до времени, — продолжал он. — Я сам был молод и служил в военной службе: знаю, что в эти дела не должно вмешиваться. Прощайте.

Бедняжка! радуется, что у него нет дочерей...

Я пошел прямо к Вернеру, застал его дома и рассказал ему все — отношения мои к Вере и княжне и

разговор, подслушанный мною, из которого я узнал намерение этих господ подурочить меня, заставив стреляться холостыми зарядами. Но теперь дело вышло из границ шутки: они, вероятно, не ожидали такой развязки.

Доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему несколько наставлений насчет условий поединка; он должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее, потому что хотя я когда угодно готов подвергать себя смерти, но нимало не расположен испортить навсегда свою будущность в здешнем мире.

После этого я пошел домой. Через час доктор вернулся из своей экспедиции.

— Против вас точно есть заговор, — сказал он. — Я нашел у Грушницкого драгунского капитана и еще одного господина, которого фамилии не помню. Я на минуту остановился в передней, чтоб снять галоши. У них был ужасный шум и спор... «Ни за что не соглашусь! — говорил Грушницкий, — он меня оскорбил публично; тогда было совсем другое...» — «Какое тебе дело? — отвечал капитан, — я все беру на себя. Я был секундантом на пяти дуэлях и уж знаю, как это устроить. Я все придумал. Пожалуйста, только мне не мешай. Постращать не худо. А зачем подвергать себя опасности, если можно избавиться?...» В эту минуту я взошел. Они вдруг замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго; наконец мы решили дело вот как: верстах в пяти отсюда есть глухое ущелье; они туда поедут завтра в четыре часа утра, а мы выедем полчаса после их; стреляться будете на шести шагах — этого требовал сам Грушницкий. Убитого — на счет черкесов. Теперь вот какие у меня подозрения: они, то есть секунданты, долж-

но быть, несколько переменили свой прежний план и хотят зарядить пулею один пистолет Грушницкого. Это немножко похоже на убийство, но в военное время, и особенно в азиатской войне, хитрости позволяют; только Грушницкий, кажется, благороднее своих товарищей. Как вы думаете? должны ли мы показать им, что догадались?

— Ни за что на свете, доктор! будьте спокойны, я им не поддамся.

— Что же вы хотите делать?

— Это моя тайна.

— Смотрите не попадитесь... ведь на шести шагах!

— Доктор, я вас жду завтра в четыре часа; лошади будут готовы... Прощайте.

Я до вечера просидел дома, запершись в своей комнате. Приходил лакей звать меня к княгине, — я велел сказать, что болен.

\* \* \*

Два часа ночи... не спится... А надо бы заснуть, чтоб завтра рука не дрожала. Впрочем, на шести шагах промахнуться трудно. А! господин Грушницкий! ваша мистификация вам не удастся... мы поменяем ролями: теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые шесть шагов? Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб... но мы бросим жребий!.. и тогда... тогда... что, если его счастье перетянет? если моя звезда наконец мне изменит?.. И не мудрено: она так долго служила верно моим прихотям; на небесах не более постоянства, чем на земле.

Что ж? умереть так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я — как человек, зевающий на бале, который не



идет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова... прощайте!..

Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений — лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудие казни, я упал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия; я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страдания — и никогда не мог насытиться. Так, томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собою роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче; но только проснулся — мечта исчезает... остается удвоенный голод и отчаяние!

И, может быть, я завтра умру!.. и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле... Одни скажут: он был добрый малый, другие — мерзавец. И то и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? а все живешь — из любопытства: ожидаешь чего-то нового... Смешно и досадно!

Вот уже полтора месяца, как я в крепости N, Максим Максимыч ушел на охоту... я один; сижу у окна; серые тучи закрыли горы до подошвы; солнце сквозь туман кажется желтым пятном. Холодный ветер свищет и колеблет ставни... Скучно! Стану продолжать свой журнал, прерванный столькими странными событиями.

Перечитываю последнюю страницу: смешно! Я думал умереть; это было невозможно: я еще не осушил чаши страданий и теперь чувствую, что мне еще долго жить.

Как же прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттенка не стерло время!

Я помню, что в продолжение ночи, предшествовавшей поединку, я не спал ни минуты. Писать и не мог долго: тайное беспокойство мною овладело. С час я ходил по комнате; потом сел и открыл роман Вальтера Скотта, лежавший у меня на столе: то были «Шотландские пуритане»; я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом... Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга?..

Наконец рассвело. Нервы мои успокоились. Я посмотрелся в зеркало; тусклая бледность покрывала лицо мое, хранившее следы мучительной бессонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тенью, блистали гордо и неумолимо. Я остался доволен собою.

Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал к купальне. Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, как буд-

но собирался на бал. После этого говорите, что душа не зависит от тела!..

Возвратясь, я нашел у себя доктора. На нем были серые рейтузы, архалук и черкесская шапка. И расхохотался, увидев эту маленькую фигурку под огромной косматой шапкой: у него лицо вовсе не воинственное, а в этот раз оно было еще длиннее обыкновенного.

— Отчего вы так печальны, доктор? — сказал я ему. — Разве вы сто раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня желчная горячка; я могу выздороветь, могу и умереть; то и другое в порядке вещей; старайтесь смотреть на меня, как на пациента, одержимого болезнью, вам еще неизвестной, — и тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени; вы можете над мною сделать теперь несколько важных физиологических наблюдений... Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая болезнь?

Эта мысль поразила доктора, и он развеселился.

Мы сели верхом; Вернер уцепился за поводья обеими руками, и мы пустились, — мигом проскакали мимо крепости через слободку и въехали в ущелье, по которому вилась дорога, полужаросшая высокой травой и ежеминутно пересекаемая шумным ручьем, через который нужно было переправляться вброд, к великому отчаянию доктора, потому что лошадь его каждый раз в воде останавливалась.

Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление; в ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня; он золотил только верхи утесов, ви-

сящих с обеих сторон над нами; густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным дождем. Я помню — в этот раз, больше чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на широком листке виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей! как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль! Там путь все становился уже, утесы синее и страшнее, и, наконец, они, казалось, сходились непроницаемой стеной. Мы ехали молча.

— Написали ли вы свое завещание? — вдруг спросил Вернер.

— Нет.

— А если будете убиты?..

— Наследники отыщутся сами.

— Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать свое последнее прощание?..

Я покачал головой.

— Неужели нет на свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память?..

— Хотите ли, доктор, — отвечал я ему, — чтоб я раскрыл вам мою душу?.. Видите ли, я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любимой и завещая другу клочок напомаженных или ненапомаженных волос. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе: иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут или, хуже, взведут на мой счет Бог знает какие небывальщичьи; женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтоб не возбудить в нем ревности к усопшему, — Бог с ними! Из жизненной бури я вынес только несколько идей — и ни одного чувства.

И давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки, а второй... второй?.. Посмотрите, доктор: видите ли вы, на скале направо чернеются три фигуры? Это, кажется, наши противники?..

Мы пустились рысью.

У подошвы скалы в кустах были привязаны три лошади; мы своих привязали тут же, а сами по узкой тропинке взобрались на площадку, где ожидал нас Грушницкий с драгунским капитаном и другим своим секундантом, которого звали Иваном Игнатьевичем; фамилии его я никогда не слышал.

— Мы давно уж вас ожидаем, — сказал драгунский капитан с иронической улыбкой.

Я вынул часы и показал ему.

Он извинился, говоря, что его часы уходят.

Несколько минут продолжалось затруднительное молчание; наконец доктор прервал его, обратясь к Грушницкому.

— Мне кажется, — сказал он, — что, показав оба готовность драться и заплатив этим долг условиям чести, вы бы могли, господа, объясниться и кончить это дело полюбовно.

— Я готов, — сказал я.

Капитан мигнул Грушницкому, и этот, думая, что я трушу, принял гордый вид, хотя до сей минуты тусклая бледность покрывала его щеки. С тех пор как мы приехали, он в первый раз поднял на меня глаза; но во взгляде его было какое-то беспокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу.

— Объясните ваши условия, — сказал он, — и все, что я могу для вас сделать, то будьте уверены...

— Вот мои условия: вы нынче же публично откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинения...

— Милостивый государь, я удивляюсь, как вы смеете мне предлагать такие вещи?..

— Что ж я вам мог предложить, кроме этого?..

— Мы будем стреляться.

Я пожал плечами.

— Пожалуй; только подумайте, что один из нас непременно будет убит.

— Я желаю, чтобы это были вы...

— А я так уверен в противном...

Он смутился, покраснел, потом принужденно захохотал.

Капитан взял его под руку и отвел в сторону; они долго шептались. Я приехал в довольно миролюбивом расположении духа, но все это начинало меня бесить.

Ко мне подошел доктор.

— Послушайте, — сказал он с явным беспокойством, — вы, верно, забыли про их заговор?.. Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае... Вы странный человек! Скажите им, что вы знаете их намерение, и они не посмеют... Что за охота! подстрелят вас как птицу...

— Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор, и погодите... Я все так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться...

— Господа, это становится скучно! — сказал я им громко, — драться так драться; вы имели время вчера наговориться...

— Мы готовы, — отвечал капитан. — Становитесь, господа!.. Доктор, извольте отмерить шесть шагов...

— Становитесь! — повторил Иван Игнатьич пискливым голосом.

— Позвольте! — сказал я, — еще одно условие; так как мы будем драться насмерть, то мы обязаны сделать все возможное, чтоб это осталось тайною и чтоб секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы?..

— Совершенно согласны.

— Итак, вот что я придумал. Видите ли на вершине этой отвесной скалы, направо, узенькую площадку? оттуда до низу будет сажен тридцать, если не больше; внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки; таким образом, даже легкая рана будет смертельна: это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили шесть шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги; пулю доктор вынет, и тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жребий, кому первому стрелять. Объявляю вам в заключение, что иначе я не буду драться.

— Пожалуй! — сказал капитан, посмотрев выразительно на Грушницкого, который кивнул головой в знак согласия. Лицо его ежеминутно менялось. Я его поставил в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести; но теперь он должен был выстрелить на воздух, или сделаться убийцей, или, наконец, оставить свой подлый замысел и подвергнуться одинаковой со мною опасности. В эту минуту я не желал бы быть на его месте. Он отвел капитана в сторону и стал говорить ему что-то с большим жаром; я видел, как

посиневшие губы его дрожали; но капитан от него отвернулся с презрительной улыбкой. «Ты дурак! — сказал он Грушницкому довольно громко, — ничего не понимаешь! Отправимтесь же, господа!»

Узкая тропинка вела между кустами на крутизну; обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы; цепляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкий шел впереди, за ним его секунданты, а потом мы с доктором.

— Я вам удивляюсь, — сказал доктор, пожав мне крепко руку. — Дайте пощупать пульс!.. О-го! лихорадочный!.. но на лице ничего не заметно... только глаза у вас блестят ярче обыкновенного.

Вдруг мелкие камни с шумом покатались нам под ноги. Что это? Грушницкий споткнулся; ветка, за которую он уцепился, изломилась, и он скатился бы вниз на спине, если б его секунданты не поддержали.

— Берегитесь! — закричал я ему, — не падайте заранее; это дурная примета. Вспомните Юлия Цезаря!

Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы; площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка. Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльбурус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не закружилась; там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозой и временем, ожидали своей добычи.

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили шесть шагов и решили, что



тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь, станет на самом углу спиною к пропасти; если он не будет убит, то противники поменяются местами.

Я решился предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел испытать его; в душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему; но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать... Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал таких условий с своею совестью?

— Бросьте жребий, доктор! — сказал капитан.

Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху.

— Решетка! — закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок.

— Орел! — сказал я.

Монета взвилась и упала, звеня; все бросились к ней.

— Вы счастливы, — сказал я Грушницкому, — вам стрелять первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь — даю вам честное слово.

Он покраснел; ему было стыдно убить человека безоружного; я глядел на него пристально; с минутой мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении; но как признаться в таком подлом умысле?.. Ему оставалось одно средство — выстрелить на воздух; я был уверен, что он выстрелит на воздух! Одно могло этому помешать: мысль, что я потребую вторичного поединка.

— Пора! — шепнул мне доктор, дергая за рукав, — если вы теперь не скажете, что мы знаем их

намерения, то все пропало. Посмотрите, он уж зрится... если вы ничего не скажете, то я сам...

— Ни за что на свете, доктор! — отвечал я, удерживая его за руку, — вы все испортите; вы мне дали слово не мешать... Какое вам дело? Может быть, и хочу быть убит...

Он посмотрел на меня с удивлением.

— О, это другое!.. только на меня на том свете не жалуйтесь...

Капитан между тем зарядил свои пистолеты, но дал один Грушницкому, с улыбкою шепнув ему что-то; другой мне.

Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад.

Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колени его дрожали. Он целил мне прямо в лоб...

Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей.

Вдруг он опустил дуло пистолета и, поблуднев как полотно, повернулся к своему секунданту.

— Не могу, — сказал он глухим голосом.

— Трус! — отвечал капитан.

Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтоб поскорей удалиться от края.

— Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся! — сказал капитан, — теперь твоя очередь, становись! Обними меня прежде: мы уж не увидимся! — Они обнялись; капитан едва мог удержаться от смеха. — Не бойся, — прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого, — все вздор на свете!.. Натура — дура, судьба — индейка, а жизнь — копейка!

После этой трагической фразы, сказанной с приличною важностью, он отошел на свое место; Иван

Игнатьич со слезами обнял также Грушницкого, и вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело тогда в груди моей: то было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек, теперь с такою уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, две минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо риненный в ногу немного сильнее, я бы непременно свалился с утеса.

Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния. Но мне показалось, что он удерживал улыбку.

— Я вам советую перед смертью помолиться Богу, — сказал я ему тогда.

— Не заботьтесь о моей душе больше, чем о своей собственной. Об одном вас прошу: стреляйте скорее.

— И вы не отказываетесь от своей клеветы? не просите у меня прощения?.. Подумайте хорошенько: не говорит ли вам чего-нибудь совесть?

— Господин Печорин! — закричал драгунский капитан, — вы здесь не для того, чтоб исповедовать, позвольте вам заметить... Кончимте скорее; неравно кто-нибудь проедет по ущелью — и нас увидят.

— Хорошо. Доктор, подойдите ко мне.

Доктор подошел. Бедный доктор! он был бледнее, чем Грушницкий десять минут тому назад.

Следующие слова я произнес нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор:

— Доктор, эти господа, вероятно, второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова, — и хорошенько!

— Не может быть! — кричал капитан, — не может быть! я зарядил оба пистолета; разве что из шшего пуля выкатилась... Это не моя вина! А вы не имеете права переряжать... никакого права... это совершенно против правил; я не позволю...

— Хорошо! — сказал я капитану, — если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях...

Он замялся.

Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущенный и мрачный.

— Оставь их! — сказал он наконец капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора... — Ведь ты сам знаешь, что они правы.

Напрасно капитан делал ему разные знаки, — Грушницкий не хотел и смотреть.

Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне. Увидев это, капитан плюнул и топнул ногой.

— Дурак же ты, братец, — сказал он, — пошлый дурак!.. Уж положился на меня, так слушайся во всем... Поделом же тебе! околей себе, как муха... — Он отвернулся и, отходя, пробормотал: — А все-таки это совершенно противу правил.

— Грушницкий! — сказал я, — еще есть время; откажись от своей клеветы, и я тебе прощу все. Тебе не удалось меня подурочить, и мое самолюбие удовлетворено; вспомни — мы были когда-то друзьями...

Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали.

— Стреляйте! — отвечал он, — я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места...

Я выстрелил...

Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва.

Все в один голос вскрикнули.

— *Finita la comedia!*<sup>1</sup> — сказал я доктору.

Он не отвечал и с ужасом отвернулся.

Я пожал плечами и раскланялся с секундантами Грушницкого.

Спускаясь по тропинке вниз, я заметил между расщелинами скал окровавленный труп Грушницкого. Я невольно закрыл глаза...

Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень. Солнце казалось мне тусклым, лучи его меня не грели.

Не доезжая слободки, я повернул направо по ущелью. Вид человека был бы мне тягостен: я хотел быть один. Бросив поводья и опустив голову на грудь, я ехал долго, наконец очутился в месте, мне вовсе незнакомом; я повернул коня назад и стал отыскивать дорогу; уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску, измученный, на измученной лошади.

Лакей мой сказал мне, что заходил Вернер, и подал мне две записки: одну от него, другую... от Веры.

Я распечатал первую, она была следующего содержания:

«Все устроено как можно лучше: тело привезено обезображенное, пуля из груди вынута. Все уверены, что причиною его смерти несчастный случай; только комендант, которому, вероятно, известна ваша ссора, покачал головой, но ничего не сказал. Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно... если можете... Прощайте...»

Я долго не решался открыть вторую записку... Что могла она мне написать?.. Тяжелое предчувствие волновало мою душу.

---

<sup>1</sup> Комедия окончена! (*ит.*)

Вот оно, это письмо, которого каждое слово неистово врезалось в моей памяти:

«Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы ни когда более не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня вторично; я не вынесла этого испытания, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу... ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет вместе прощанием и исповедью: я обязана сказать тебе все, что накопилось на моем сердце с тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя — ты поступил со мною, как поступил бы всякий другой мужчина: ты любил меня как собственность, как источник радостей, тревог и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я это поняла сначала... Но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, не зависящую ни от каких условий. Прошло с тех пор много времени; я проникла во все тайны души твоей... и убедилась, что то была надежда напрасная. Горько мне было! Но моя любовь срослась с душой моей: она потемнела, но не угасла.

Мы расстаемся навеки; однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого: моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтоб ты был лучше их, о нет! но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоём голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно; ничей

взор не обещает столько блаженства; никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном.

Теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда; она тебе покажется маловажна, потому что касается до одной меня.

Нынче поутру мой муж вошел ко мне и рассказал про твою ссору с Грушницким. Видно, я очень переменилась в лице, потому что он долго и пристально смотрел мне в глаза; я едва не упала без памяти при мысли, что ты нынче должен драться и что я этому причиной; мне казалось, что я сойду с ума... Но теперь, когда я могу рассуждать, я уверена, что ты останешься жив: невозможно, чтоб ты умер без меня, невозможно! Мой муж долго ходил по комнате; я не знаю, что он мне говорил, не помню, что я ему отвечала... верно, я ему сказала, что я тебя люблю... Помню только, что под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел. Я слышала, как он велел закладывать карету... Вот уж три часа, как я сижу у окна и жду твоего возврата... Но ты жив, ты не можешь умереть!.. Карета почти готова... Прощай, прощай... Я погибла, — но что за нужда?.. Если б я могла быть уверена, что ты всегда меня будешь помнить, — не говорю уж любить, — нет, только помнить... Прощай; идут... я должна спрятать письмо...

Не правда ли, ты не любишь Мери? ты не женишься на ней? Послушай, ты должен мне принести эту жертву: я для тебя потеряла все на свете...»

Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, которого водили по двору, и пустился во весь дух, по дороге в Пятигорск. Я беспо-

щадно погонял измученного коня, который, храни и весь в пене, мчал меня по каменистой дороге.

Солнце уже спряталось в черной туче, отдышавшей на гребне западных гор; в ущелье стало темно и сыро. Подкумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпенья. Мысль не застать ее уже в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце! — одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку... Я молился, проклинал, плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастья! Бог знает какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей... И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; он раза два уж спотыкнулся на ровном месте... Оставалось пять верст до Эссентуков — казачьей станицы, где я мог пересть на другую лошадь.

Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут! Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод — напрасно: едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы; через несколько минут он издох; я остался в степи один, потеряв последнюю надежду; попробовал идти пешком — ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал.

И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие — исчезли как дым. Душа обессилела, рас-



судок замолк, и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.

Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? — не видеть? — зачем? не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться.

Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две минуты против дула пистолета и пустой желудок.

Все к лучшему! это новое страдание, говоря военинным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово; и потом, вероятно, если б я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти пятнадцать верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих.

Я возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо.

Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у открытого окна, расстегнул архалук, — и горный ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную тяжелым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип, ее осеняющих, мелькали огни в строениях крепости и слободки. На дворе у нас все было тихо, в доме княгини было темно.

Взошел доктор: лоб у него был нахмурен; он, против обыкновения, не протянул мне руки.

— Откуда вы, доктор?

— От княгини Лиговской; дочь ее больна — расслабление нервов... Да не в этом дело, а вот что: на-

чальство догадывается, и хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей все этот старичок рассказал... как бишь его? Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся, вас ушлют куда-нибудь.

Он на пороге остановился: ему хотелось пожать мне руку... и если б я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею; но я остался холоден, как камень, — и он вышел.

Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, — а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные!..

На другой день утром, получив приказание от высшего начальства отправиться в крепость N., я зашел к княгине проститься.

Она была удивлена, когда на вопрос ее: имею ли я ей сказать что-нибудь особенно важное? — я отвечал, что желаю ей быть счастливой и прочее.

— А мне нужно с вами поговорить очень серьезно.

Я сел молча.

Явно было, что она не знала, с чего начать; лицо ее побагровело, пухлые ее пальцы стучали по столу; наконец она начала так, прерывистым голосом:

— Послушайте, мсье Печорин! я думаю, что вы благородный человек.

Я поклонился.

— Я даже в этом уверена, — продолжала она, — хотя ваше поведение несколько сомнительно; но у вас могут быть причины, которых я не знаю, и их-то вы должны теперь мне поверить. Вы защитили дочь мою от клеветы, стрелялись за нее, — следственно, рисковали жизнью... Не отвечайте, я знаю, что вы в этом не признаётесь, потому что Грушницкий убит (она перекрестилась). Бог ему простит — и, надеюсь, вам также!.. Это до меня не касается, я не смею осуждать вас, потому что дочь моя хотя невинно, но была этому причиной. Она мне все сказала... я думаю, все: вы изъяснились ей в любви... она вам призналась в своей (тут княгиня тяжело вздохнула). Но она больна, и я уверена, что это не простая болезнь! Печаль тайная ее убивает: она не признается, но я уверена, что вы этому причиной... Послушайте: вы, может быть, думаете, что я ищу чинов, огромного богатства, — разуверьтесь! я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положение незавидно, но оно может поправиться: вы имеете состояние; вас любит дочь моя, она воспитана так, что составит счастье мужа, — я богата, она у меня одна... Говорите, что вас удерживает?.. Видите, я не должна бы была вам всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь; вспомните: у меня одна дочь... одна...

Она заплакала.

— Княгиня, — сказал я, — мне невозможно отвечать вам; позвольте мне поговорить с вашей дочерью наедине...

— Никогда! — воскликнула она, встав со стула в сильном волнении.

— Как хотите, — отвечал я, приготовляясь уйти.

Она задумалась, сделала мне знак рукою, чтоб я подождал, и вышла.

Прошло минут пять; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; как я ни искал в груди моей хоть искры любви к милой Мери, но старания мои были напрасны.

Вот двери отворились, и взошла она. Боже! как переменилась с тех пор, как я не видал ее, — а давно ли?

Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел.

Я стоял против нее. Мы долго молчали; ее большие глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду; ее бледные губы напрасно старались улыбнуться; ее нежные руки, сложенные на коленях, были так худы и прозрачны, что мне стало жаль ее.

— Княжна, — сказал я, — вы знаете, что я над вами смеялся?.. Вы должны презирать меня.

На ее щеках показался болезненный румянец.

Я продолжал:

— Следственно, вы меня любить не можете...

Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы.

— Боже мой! — произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее.

— Итак, вы сами видите, — сказал я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкою, — вы сами видите, что я не могу на вас жениться, если бы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись. Мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо; я надеюсь, что она в заблуждении: вам легко ее разуверить. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую

и гадкую роль, и даже в этом признаюсь; вот все, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное мнение обо мне ни имели, я ему покоряюсь... Видите ли, я перед вами низок. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете?..

Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза ее чудесно сверкали.

— Я вас ненавижу... — сказала она.

Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.

Через час курьерская тройка мчала меня из Кисловодска. За несколько верст от Эссентуков я узнал близ дороги труп моего лихого коня; седло было снято — вероятно, проезжим казаком, — и вместо седла на спине его сидели два ворона. Я вздохнул и отвернулся...

И теперь, здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслью прошедшее, спрашиваю себя: отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?.. Нет, я бы не ужился с этой долей! Я как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига: его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани...

## ФАТАЛИСТ

Мне как-то раз случилось прожить две недели в казачьей станице на левом фланге; тут же стоял батальон пехоты; офицеры собирались друг у друга поочередно, по вечерам играли в карты.

Однажды, наскучив бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С\*\*\* очень долго; разговор, против обыкновения, был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами, христианами, многих поклонников; каждый рассказывал разные необыкновенные случаи *pro*<sup>1</sup> или *contra*<sup>2</sup>.

— Все это, господа, ничего не доказывает, — сказал старый майор, — ведь никто из вас не был свидетелем тех странных случаев, которыми вы подтверждаете свои мнения?

— Конечно, никто, — сказали многие, — но мы слышали от верных людей...

— Все это вздор! — сказал кто-то, — где эти верные люди, видевшие список, на котором означен час нашей смерти?.. И если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? почему мы должны давать отчет в наших поступках?

В это время один офицер, сидевший в углу комнаты, встал и, медленно подойдя к столу, окинул всех спокойным и торжественным взглядом. Он был родом серб, как видно было из его имени.

Наружность поручика Вулича отвечала вполне

---

<sup>1</sup> за (*лат.*).

<sup>2</sup> против (*лат.*).

его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные пронизательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, — все это будто согласовалось для того, чтобы придать ему вид существа особенного, не способного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи.

Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн; вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками, — которых прелесть трудно постигнуть, не видав их, — он никогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была равнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали.

Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. За зеленым столом он забывал все и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что раз, во время экспедиции, ночью, он на подушке метал банк, ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу, все вскочили и бросились к оружию. «Поставь ва-банк!» — кричал Вулич, не подымаясь, одному из самых горячих понтеров. «Идет семерка», — отвечал тот, убегая. Несмотря на всеобщую суматоху, Вулич докинул талью; карта была дана.

Когда он явился в цепь, там была уж сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских: он отыскивал своего счастливого понтера.

— Семерка дана! — закричал он, увидев его наконец в цепи застрельщиков, которые начинали вы-

теснять из леса неприятеля, и, подойдя ближе, он вынул свой кошелек и бумажник и отдал их счастливицу, несмотря на возражения о неуместности платежа. Исполнив этот неприятный долг, он бросился вперед, увлек за собою солдат и до самого конца дела прехладнокровно перестреливался с чеченцами.

Когда поручик Вулич подошел к столу, то все за молчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки.

— Господа! — сказал он (голос его был спокоен, хотя тоном ниже обыкновенного), — господа! к чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута... Кому угодно?

— Не мне, не мне! — раздалось со всех сторон, — вот чудак! придет же в голову!..

— Предлагаю пари, — сказал я шутя.

— Какое?

— Утверждаю, что нет предопределения, — сказал я, высыпая на стол десятка два червонцев — все, что было у меня в кармане.

— Держу, — отвечал Вулич глухим голосом. — Майор, вы будете судьей; вот пятнадцать червонцев: остальные пять вы мне должны, и сделаете мне дружбу, прибавить их к этим.

— Хорошо, — сказал майор, — только не понимаю, право, в чем дело и как вы решите спор?..

Вулич молча вышел в спальню майора; мы за ним последовали. Он подошел к стене, на которой висело оружие, и наудачу снял с гвоздя один из разнокалиберных пистолетов; мы еще его не понимали, но когда он взвел курок и насыпал на полку



пороха, то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки.

— Что ты хочешь делать? Послушай, это сумасшествие! — закричали ему.

— Господа! — сказал он медленно, освобождая свои руки, — кому угодно заплатить за меня двадцать червонцев?

Все замолчали и отошли.

Вулич вышел в другую комнату и сел у стола; все последовали за ним: он знаком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему: в эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрел ему в глаза; но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись; но, несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его. Я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться.

— Вы нынче умрете! — сказал я ему. Он быстро ко мне обернулся, но отвечал медленно и спокойно:

— Может быть, да, может быть, нет...

Потом, обратясь к майору, спросил: заряжен ли пистолет? Майор в замешательстве не помнил хорошенько.

— Да полно, Вулич! — закричал кто-то, — уж, верно, заряжен, коли в головах висел; что за охота шутить!..

— Глупая шутка! — подхватил другой.

— Держу пятьдесят рублей против пяти, что пи-  
столет не заряжен! — закричал третий.

Составилось новое пари.

Мне надоела эта длинная церемония.

— Послушайте, — сказал я, — или застрелитесь,  
или повесьте пистолет на прежнее место, и пойдёмте  
спать.

— Разумеется, — воскликнули многие, — пой-  
демте спать.

— Господа, я вас прошу не трогаться с места! —  
сказал Вулич, приставив дуло пистолета ко лбу. Все  
будто окаменели.

— Господин Печорин, — прибавил он, — возьми-  
те карту и бросьте вверх.

Я взял со стола, как теперь помню, червонного  
туза и бросил кверху: дыхание у всех остановилось;  
все глаза, выражая страх и какое-то неопределенное  
любопытство, бегали от пистолета к роковому тузу,  
который, трепеща на воздухе, опускался медленно;  
в ту минуту, как он коснулся стола, Вулич спустил  
курок... осечка!

— Слава Богу! — вскрикнули многие, — не за-  
ряжен...

— Посмотрим, однако ж, — сказал Вулич. Он  
взвел опять курок, прицелился в фуражку, висев-  
шую над окном; выстрел раздался — дым наполнил  
комнату. Когда он рассеялся, сняли фуражку: она  
была пробита в самой середине, и пуля глубоко за-  
села в стене.

Минуты три никто не мог слова вымолвить; Ву-  
лич преспокойно пересыпал в свой кошелек мои чер-  
вонцы.

Пошли толки о том, отчего пистолет в первый  
раз не выстрелил; иные утверждали, что, вероятно,

полка была засорена, другие говорили шепотом, что прежде порох был сырой и что после Вулич присыпал свежего; но я утверждал, что последнее предположение несправедливо, потому что я во все время не спускал глаз с пистолета.

— Вы счастливы в игре, — сказал я Вуличу...

— В первый раз отроду, — отвечал он, самоодольно улыбаясь, — это лучше банка и штосса.

— Зато немножко опаснее.

— А что? вы начали верить предопределению?

— Верю; только не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть...

Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился.

— Однако ж довольно! — сказал он, вставая, — пари наше кончилось, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны... — Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным — и недаром!..

Скоро все разошлись по домам, различно толкуя о причудах Вулича и, вероятно, в один голос называя меня эгоистом, потому что я держал пари против человека, который хотел застрелиться; как будто он без меня не мог найти удобного случая!..

Я возвращался домой пустыми переулками станции; месяц, полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? эти лампы, зажженные, по

их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником! Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждений и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою...

И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли. И к чему это ведет?.. В первой молодости моей я был мечтателем; я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко,

как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге.

Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы; не знаю наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было разительно, и я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею; но я остановил себя вовремя на этом опасном пути и, имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не верить слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но, по видимому, неживое. Наклоняюсь — месяц уж светил прямо на дорогу — и что же? передо мною лежала свинья, разрубленная пополам пашкой... Едва я успел ее рассмотреть, как услышал шум шагов: два казака бежали из переулка, один подошел ко мне и спросил: не видал ли я пьяного казака, который гнался за свиньей. Я объявил им, что не встречал казака, и указал на несчастную жертву его неистовой храбрости.

— Экой разбойник! — сказал второй казак, — как напьется чихиря, так и пошел крошить все, что ни попало. Пойдем за ним, Еремеич, надо его связать, а то...

Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и наконец счастливо добрался до своей квартиры.

Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку Настю.

Она, по обыкновению, дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку; луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного холода. Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до нее. «Прощай, Настя», — сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула.

Я затворил за собою дверь моей комнаты, засветил свечу и бросился на постель; только сон на этот раз заставил себя ждать более обыкновенного. Уже восток начинал бледнеть, когда я заснул, но — видно, было написано на небесах, что в эту ночь я не высплусь. В четыре часа утра два кулака застучали ко мне в окно. Я вскочил: что такое?.. «Вставай, одевайся!» — кричало мне несколько голосов. Я наскоро оделся и вышел. «Знаешь, что случилось?» — сказали мне в один голос три офицера, пришедшие за мною; они были бледны как смерть.

— Что?

— Вулич убит.

Я остолбенел.

— Да, убит! — продолжали они, — пойдем скорее.

— Да куда же?

— Дорогой узнаешь.

Мы пошли. Они рассказали мне все, что случилось, с примесью разных замечаний насчет странного предопределения, которое спасло его от неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вулич шел один по темной улице; на него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью, и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг остановясь, не сказал: «Кого ты, братец, ищешь?» — «Тебя!» — отвечал казак, ударив его пашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца... Два казака, встретившие

меня и следившие за убийцей, подросли, подняли ружье, но он был уже при последнем издыхании и сказал только два слова: «Он прав!» Я один понимал темное значение этих слов: они относились ко мне; я предсказал невольно бедному его судьбу; мой инстинкт не обманул меня: я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины.

Убийца заперся в пустой хате, на конце станции: мы шли туда. Множество женщин бежало с плачем в ту же сторону; по временам опоздавший казак выскакивал на улицу, второпях пристегивая кинжал, и бегом опережал нас. Суматоха была страшная.

Вот наконец мы пришли; смотрим: вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют горячо между собою: женщины воют, приговаривая и причитывая. Среди них бросилось мне в глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчаяние. Она сидела на толстом бревне, облокотясь на свои колени и поддерживая голову руками: то была мать убийцы. Ее губы по временам шевелились: молитву они шептали или проклятие?

Между тем надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника. Никто, однако, не отважился броситься первый.

Я подошел к окну и посмотрел в щель ставня: бледный, он лежал на полу, держа в правой руке пистолет; окровавленная пашка лежала возле него. Выразительные глаза его страшно вращались кругом; порою он вздрагивал и хватал себя за голову, как будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочел большой решимости в этом беспокойном взгляде

и сказал майору, что напрасно он не велит выломать дверь и броситься туда казакам, потому что лучше это сделать теперь, нежели после, когда он совсем опомнится.

В это время старый есаул подошел к двери и назвал его по имени; тот откликнулся.

— Согрешил, брат Ефимыч, — сказал есаул, — так уж нечего делать, покорись!

— Не покорюсь! — отвечал казак.

— Побойся Бога! Ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин; ну, уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не минуешь!

— Не покорюсь! — закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок.

— Эй, тетка! — сказал есаул старухе, — поговори сыну, авось тебя послушает... Ведь это только Бога гневить. Да посмотри, вот и господа уж два часа дожидаются.

Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой.

— Василий Петрович, — сказал есаул, подойдя к майору, — он не сдастся — я его знаю. А если дверь разломать, то много наших перебьет. Не прикажете ли лучше его пристрелить? в ставне щель широкая.

В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль: подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу.

— Погодите, — сказал я майору, — я его возьму живого.

Велев есаулу завести с ним разговор и поставив у дверей трех казаков, готовых ее выбить и броситься ко мне на помощь при данном знаке, я обошел ха-



ту и приблизился к роковому окну. Сердце мое сильно билось.

— Ах ты окаянный! — кричал есаул, — что ты, над нами смеешься, что ли? али думаешь, что мы с тобой не совладаем? — Он стал стучать в дверь изо всей силы; я, приложив глаз к щели, следил за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения, — и вдруг оторвал ставень и бросился в окно головой вниз. Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет. Но дым, наполнивший комнату, помешал моему противнику найти пашку, лежавшую возле него. Я схватил его за руки, казаки ворвались, и не прошло трех минут, как преступник был уже связан и отведен под конвоем. Народ разошелся. Офицеры меня поздравляли — и точно, было с чем!

После всего этого как бы, кажется, не сделаться фаталистом? Но кто знает наверное, убежден ли он в чем или нет?.. и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!..

Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера — напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минешь!

Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимычу все, что случилось со мною и чему был я свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения. Он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог, и тогда он сказал, значительно покачав головою:

— Да-с! конечно-с! Это штука довольно мудреная!.. Впрочем, эти азиатские курки часто осека-

ются, если дурно смазаны или не довольно крепко прижмешь пальцем; признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских; они как-то нашему брату неприличны: приклад маленький — того и гляди, нос обожжет... Зато уж шашки у них — просто мое почтение!

Потом он промолвил, несколько подумав:

— Да, жаль беднягу... Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано!..

Больше я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических прений.

В. Белинский  
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

М. Лермонтов  
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Сочинение М. Лермонтова. С.-Петербург. 1840.

Две части.

I

Отличительный характер нашей литературы состоит в резкой противоположности ее явлений. Возьмите любую европейскую литературу, и вы увидите, что ни в одной из них нет скачков от величайших созданий до самых пошлых: те и другие связаны лестницею со множеством ступеней, в нисходящем или восходящем порядке, смотря по тому, с которого конца будете смотреть. Подле гениального художественного создания вы увидите множество созданий, принадлежащих сильным художническим талантам; за ними бесконечный ряд превосходных, примечательных, порядочных и т. д. беллетрических произведений, так что доходите до порождений дюжинной посредственности не вдруг, а постепенно и незаметно. Самые посредственные произведения иностранной беллетристики носят на себе отпечаток большей или меньшей образованности, знания общества или, по крайней мере, грамотности авторов. И потому-то все европейские литературы так плодovиты и богаты, что ни на миг не оставляют своих читателей без достаточного запаса умственного наслаждения. Самая французская литература, бедная и ничтожная художественными созданиями, едва ли еще не богаче других беллетрическими произве-

дениями, благодаря которым она и удерживает свое исключительное владычество над европейскою читающею публикою. Напротив того, наша молодая литература по справедливости может гордиться значительным числом великих художественных созданий и до нищеты бедна хорошими беллетрическими произведениями, которые, естественно, должны бы далеко превосходить первые в количестве. В век Екатерины литература наша имела Державина — и никого, кто бы хотя несколько приближался к нему; полузабытый ныне Фонвизин и забытые Хемницер и Богданович были единственными примечательными беллетристами того времени. Крылов, Жуковский и Батюшков были поэтическими корифеями века Александра I; Капнист, Карамзин (говорим о нем не как об историке), Дмитриев, Озеров и еще немногие блестящим образом поддерживали беллетристику того времени. С двадцатых до тридцатых годов настоящего века литература наша оживилась: еще далеко не кончили своего поэтического поприща Крылов и Жуковский, как явился Пушкин, первый великий народный русский поэт, вполне художник, сопровождаемый и окруженный толпою более или менее примечательных талантов, которых неоспоримым достоинством мешает только невыгода быть современниками Пушкина. Но зато пушкинский период необыкновенно (сравнительно с предшествовавшими и последующим) был богат блестящими беллетрическими талантами, из которых некоторые в своих произведениях возвышались до поэзии, и хотя другие теперь уже и не читаются, но в свое время пользовались большим вниманием публики и сильно занимали ее своими произведениями, большею частью мелкими, помещавшимися в журналах и аль-

минахах. Начало четвертого десятилетия ознаменовалось романтическим и драматическим движением и — несбывшимися яркими надеждами: «Юрий Милославский» подал большие надежды, «Торквато Тиссо» тоже подал большие надежды... и многие подивились большим надеждам, только теперь оказались совершенно безнадежными... Но и в этом периоде надежд и безнадежностей блестит яркая звезда великого творческого таланта, — мы говорим о Гоголе, который, к сожалению, после смерти Пушкина ничего не печатает и которого последние произведения русская публика прочла в «Современнике» в 1836 год, хотя слухи о новых его произведениях и не умолкают... Тридцатый год был роковым для нашей литературы: журналы начали прекращаться один за другим, альманахи наскучили публике и прекратились, и в 1834 году «Библиотека для чтения» соединила в себе труды почти всех известных и неизвестных поэтов и литераторов, как бы нарочно для того, чтобы показать ограниченность их деятельности и бедность русской литературы... Но обо всем этом мы скоро поговорим в особой статье; на этот раз прямо выскажем нашу главную мысль, что отличительный характер русской литературы — внезапные проблески сильных и даже великих художественных талантов и, за немногими исключениями, вечная поговорка читателей: «Книг много, а читать нечего...» К числу таких сильных художественных талантов, неожиданно являющихся среди окружающей их пустоты, принадлежит талант г. Лермонтова. В «Библиотеке для чтения» на 1834 год напечатано было несколько (очень немного) стихотворений Пушкина и Жуковского; после того русская поэзия нашла свое убежище в «Современнике», где, кроме стихотворе-

ний самого издателя, появлялись нередко и стихотворения Жуковского и немногих других и где помещены: «Капитанская дочка» Пушкина, «Нос», «Коляска» и «Утро делового человека», сцена из комедии Гоголя, не говоря уже о нескольких замечательных беллетристических произведениях и критических статьях. Хотя этот полужурнал и полуальманах только год издавался Пушкиным, но как в нем долго печатались посмертные произведения его основателя, то «Современник» и долго еще был единственным убежищем поэзии, скрывшейся из периодических изданий с началом «Библиотеки для чтения». В 1835 году вышла маленькая книжка стихотворений Кольцова, после того постоянно печатающего свои лирические произведения в разных периодических изданиях до сего времени. Кольцов обратил на себя общее внимание, но не столько достоинством и сущностью своих созданий, сколько своим качеством поэта-самоучки, поэта-прасола. Он и доселе не понят, не оценен как поэт, вне его личных обстоятельств, и только немногие сознают всю глубину, обширность и богатырскую мощь его таланта и видят в нем не эфемерное, хотя и примечательное явление периодической литературы, а истинного жреца высокого искусства. Почти в одно время с изданием первых стихотворений Кольцова явился с своими стихотворениями и г. Бенедиктов. Но его муза гораздо больше произвела в публике толков и восклицаний, нежели обогатила нашу литературу. Стихотворения г. Бенедиктова — явление примечательное, интересное и глубоко поучительное: они отрицательно поясняют тайну искусства и в то же время подтверждают собою ту истину, что всякий внешний талант, ослепляющий глаза внешнею стороною искусства и вы-

ходящий не из вдохновения, а из легко воспламеняющейся природы, так же тихо и незаметно сходит с арены, как шумно и блистательно является на нее. Благодаря странной случайности, вследствие которой в «Библиотеку для чтения» попали стихи г. Красова и явились в ней с именем г. Бернета<sup>1</sup>, г. Красов, до того времени печатавший свои произведения только в московских изданиях, получил общую известность. В самом деле, его лирические произведения часто отличаются пламенным, хотя и неглубоким чувством, а иногда и художественною формою. После г. Красова заслуживают внимание стихотворения под фирмою — ⊕ —<sup>2</sup>; они отличаются чувством скорбным, страдальческим, болезненным, какою-то однообразною оригинальностью, нередко счастливыми оборотами постоянно господствующей в них идеи раскаяния и примирения, иногда пленительными поэтическими образами. Знакомые с состоянием духа, которое в них выражается, никогда не пройдут мимо их без душевного участия; находящиеся в том же самом состоянии духа, естественно, преувеличат их достоинства; люди же, или незнакомые с таким страданием, или слишком нормальные духом, могут не отдать им должной справедливости: таково влияние и такова участь поэтов, в созданиях которых общее слишком заслонено их индивидуальностью. Во всяком случае, стихотворения — ⊕ — принадлежат к примечательным явлениям *современной* им литературы, и их историческое значение не подвержено никакому сомнению.

---

<sup>1</sup> Псевдоним А. К. Жуковского.

<sup>2</sup> Псевдоним И. П. Ключникова.

Может быть, многим покажется странно, что мы ничего не говорим о г. Кукольнике, поэте столь плодовитом и столь превознесенном «Библиотекою для чтения». Мы вполне признаем его достоинства, которые не подвержены никакому сомнению, но о которых нового нечего сказать. Поэтические моста не выкупают ничтожности целого создания, точно так же, как два, три счастливые монолога не составляют драмы. Пусть в драме, состоящей из 3000 стихов, наберется до тридцати или, если хотите, и до пятидесяти хороших лирических стихов, но драма от того не менее скучна и утомительна, если в ней нет ни действия, ни характеров, ни истины. Многочисленность написанных кем-либо драм также не составляет еще достоинства и заслуги, особенно если все драмы похожи одна на другую, как две капли воды. О таланте ни слова, пусть он будет; но степень таланта — вот вопрос! Если талант не имеет в себе достаточной силы стать в уровень с своими стремлениями и предприятиями, он производит только пустоцвет, когда вы ждете от него плодов. — Чтобы нас не подозревали в пристрастии, мы, пожалуй, упомянем еще и о г. Бернете, во многих стихотворениях которого иногда проблескивали яркие искорки поэзии; но ни одно из них, как из больших, так и из маленьких, не представляло собою ничего целого и оконченного. К тому же, талант г. Бернета идет сверху вниз, и последние его стихотворения последовательно слабее первых, так что теперь уже перестают говорить и о первых. Может быть, мы пропустили еще несколько стихотворцев с проблеском таланта; но стоит ли останавливаться над однолетними растениями, которые так нередки, так обыкновенны и цветут одно мгно-



иение! стоит ли останавливаться над ними, хоть они и цветы, а не сухая трава? Нет.

Спящий в гробе мирно спи,  
Жизнью пользуйся живущий!<sup>1</sup>

И потому обратимся к *живым*. Но и из них только один Кольцов обещает жизнь, которая не боится смерти, ибо его поэзия есть не современно важное, но безотносительно примечательное явление. Никого из явившихся вместе с ним и после него нельзя поставить с ним наряду, и долго стоял он в просторном отдалении от всех других, как вдруг на горизонте нашей поэзии возшло новое яркое светило и тотчас оказалось звездой первой величины. Мы говорим о Лермонтове, который, без имени, явился в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду» 1838 года к поэмою «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», и с 1839 года постоянно продолжает являться в «Отечественных записках». Поэма его, несмотря на ее великое художественное достоинство, совершенную оригинальность и самобытность, не обратила на себя особенного внимания всей публики и была замечена только немногими; но каждое из его мелких произведений возбуждало общий и сильный восторг. Все видели в них что-то совершенно новое, самобытное; всех поражало могущество вдохновения, глубина и сила чувства, роскошь фантазии, полнота жизни и резко ощутительное присутствие мысли в художественной форме. Пока оставляя в стороне сравнения, мы заметим теперь только то, что, при всей глубине

---

<sup>1</sup> Строки из баллады Ф. Шиллера «Торжество победителей» (перевод В. А. Жуковского).

мыслей, энергии выражения, разнообразии содержания, по которым Кольцову едва ли можно бояться чьего-нибудь соперничества, форма его стихотворений, несмотря на свою художественность, всегда однообразна, всегда одинаково безыскусственна. Кольцов не есть только *народный* поэт: нет, он стоит выше, ибо если его *песни* понятны всякому простолюдину, то его *думы* недоступны никакому; но в то же время он не может назваться и поэтом национальным, ибо его могучий талант не может выйти из магического круга народной непосредственности. Это гениальный простолюдин, в душе которого возникают вопросы, свойственные только людям, развитым наукою и образованием, и который высказывает эти глубокие вопросы в форме народной поэзии. Поэтому он непереволим ни на какой язык и понятен только у себя дома, только своим соотечественникам. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» показывает, что Лермонтов умеет явления непосредственной русской жизни воспроизводить в народно-поэтической форме, единственно свойственной им, тогда как прочие его произведения, проникнутые русским духом, являются в той общемировой форме, которая свойственна поэзии, перешедшей из естественной в художественную, и которая, не переставая быть национальной, доступна для всякого века и всякой страны<sup>1</sup>.

В то время как какие-нибудь два стихотворения, помещенные в первых двух книжках «Отечественных записок» 1839 года, возбудили к Лермонтову столько интереса со стороны публики, утвердили

---

<sup>1</sup> Так как стихотворения Лермонтова скоро выйдут в свет особою книжкою, то мы и поговорим о них поподробнее в свое время и в особой статье.

ли ним имя поэта с большими надеждами, Лермонтов вдруг является с повестью «Бэла», написанною и прозе. Это тем приятнее удивило всех, что еще более обнаружило силу молодого таланта и показало его разнообразие и многосторонность. В повести Лермонтов явился таким же творцом, как и в своих стихотворениях. С первого раза можно было заметить, что эта повесть вышла не из желания заинтересовать публику исключительно любимым ею родом литературы, не из слепого подражания делать то, что все делают, но из того же источника, из которого вышли и его стихотворения, — из глубокой творческой натуры, чуждой всяких побуждений, кроме вдохновения. Лирическая поэзия и повесть современной жизни соединились в одном таланте. Такое соединение, по-видимому, столь противоположных родов поэзии не редкость в наше время. Шиллер и Гете были лириками, романистами и драматургами, хотя лирический элемент всегда оставался в них господствующим и преобладающим. Сам «Фауст» есть лирическое произведение в драматической форме. Поэзия нашего времени по преимуществу роман и драма; но лиризм все-таки остается общим элементом поэзии, потому что он есть общий элемент человеческого духа. С лиризма начинает почти каждый поэт, так же, как с него начинает каждый народ. Сам Вальтер Скотт перешел к роману от лирических поэм. Только литература Северо-Американских Штатов началась романом Купера, и это явление так же странно, как и общество, в котором оно произошло. Может быть, это оттого, что северо-американская литература есть продолжение английской. Наша литература представляет тоже совершенно особенное явление: мы вдруг переживаем все моменты европейской жизни, которые на Западе развивались последова-

тельно. Только до Пушкина наша поэзия была по преимуществу лирической. Пушкин недолго ограничивался лиризмом и скоро перешел к поэме, а от нее — к драме. Как полный представитель духа своего времени, он также покушался на роман: в «Современнике» 1837 года помещено шесть глав (с началом седьмой) из неконченного романа его под названием «Арап Петра Великого», из которых четвертая глава была первоначально помещена в «Северных цветах» 1829 года. Повести Пушкин начал писать уже в последние годы своей недоконченной жизни. Однако же очевидно, что настоящим его родом был лиризм, стихотворная повесть (поэма) и драма, ибо его прозаические опыты далеко не равны стихотворным. Самая лучшая его повесть, «Капитанская дочка», при всех ее огромных достоинствах, не может идти ни в какое сравнение с его поэмами и драмами. Это не больше, как превосходное беллетристическое произведение с поэтическими и даже художественными частностями. Другие его повести, особенно «Повести Белкина», принадлежат исключительно к области беллетристики. Может быть, в этом заключается причина того, что и роман, так давно начатый, не был кончен. Лермонтов и в прозе является равным себе, как и в стихах, и мы уверены, что, с большим развитием его художественной деятельности, он непременно дойдет до драмы. Наше предположение не произвольно: оно основывается сколько на полноте драматического движения, заметного в повестях Лермонтова, столько же и на духе настоящего времени, особенно благоприятного соединению в одном лице всех форм поэзии. Последнее обстоятельство очень важно, ибо и у искусства всякого народа есть свое историческое развитие, вследствие которого определяется характер и род деятельности поэта. Может быть, и Пуш-

кин был бы таким же великим романистом, как лириком и драматургом, если бы явился позже и имел подобного себе предшественника.

«Бэла», заключая в себе интерес отдельной и оконченной повести, в то же время была только отрывком из большого сочинения, равно как и «Фаттилист» и «Тамань», впоследствии напечатанные в «Отечественных же записках». Теперь они являются, вместе с другими, с «Максимом Максимычем», «Предисловием к журналу Печорина» и «Княжнюю Мери», под одним общим заглавием «Героя нашего времени». Это общее название — не прихоть автора; равным образом, по названию не должно заключать, чтобы содержащиеся в этих двух книжках повести были рассказами какого-нибудь лица, на которого автор навязал роль рассказчика. Во всех повестях одна мысль, и эта мысль выражена в одном лице, которое есть герой всех рассказов. В «Бэле» он является каким-то таинственным лицом. Героиня этой повести вся перед вами, но герой — как будто бы показывается под вымышленным именем, чтобы его не узнали. Из-за отношений его по «Бэле» вы невольно догадываетесь о какой-то другой повести, заманчивой, таинственной и мрачной. И вот автор тотчас показывает вам его при свидании с Максимом Максимычем, который рассказал ему повесть о Бэле. Но ваше любопытство не удовлетворено, а только еще более раздражено, и повесть о Бэле все еще остается для вас загадочною. Наконец, в руках автора журнал Печорина, в предисловии к которому автор делает намек на идею романа, но намек, который только более возбуждает ваше нетерпение познакомиться с героем романа. В высшей степени поэтическом рассказе «Тамань» герой романа является автобиографом, но загадка от этого становится только заманчи-

вее, и отгадка еще не тут. Наконец, вы переходите к «Княжне Мери», и туман рассеивается, загадки разгадываются, основная идея романа, как горькое чувство, мгновенно овладевшее всем существом вашим, пристает к вам и преследует вас. Вы читаете наконец «Фаталиста», и хотя в этом рассказе Печорин является не героем, а только рассказчиком случая, которого он был свидетелем, хотя в нем вы не находите ни одной новой черты, которая дополнили бы вам портрет «героя нашего времени», но странное дело! вы еще более понимаете его, более думаете о нем, и ваше чувство еще грустнее и горестнее...

Эта полнота впечатления, в котором все разнообразные чувства, волновавшие вас при чтении романа, сливаются в единое общее чувство, в котором все лица, — каждое столько интересное само по себе, так полно образованное, — становятся вокруг одного лица, составляют с ним группу, которой средоточие есть это одно лицо, вместе с вами смотрят на него, кто с любовью, кто с ненавистью, — какая причина этой полноты впечатления? Она заключается в единстве мысли, которая выразилась в романе и от которой произошла эта гармоническая ответственность частей с целым, это строго соразмерное распределение ролей для всех лиц, наконец, эта окончательность, полнота и *замкнутость* целого.

Сущность всякого художественного произведения состоит в органическом процессе его явления из возможности бытия в действительность бытия. Как невидимое зерно, упадет в душу художника мысль, и из этой благодатной и плодородной почвы разворачивается и развивается в определенную форму, в образы, полные красоты и жизни, и наконец является совершенно особным, цельным и замкнутым в самом себе миром, в котором все части соразмерны целому,

и каждая, существуя сама по себе и сама собою, составляя замкнутый в самом себе образ, в то же время существует для целого, как его необходимая часть, и способствует впечатлению целого. Так точно живой человек представляет собою также особый и замкнутый в самом себе мир: его *организм* сложен из бесчисленного множества *органов*, и каждый из этих органов, представляя собою удивительную целость, оконченность и особность, есть живая часть живого организма, и *все* органы образуют *единый* организм, единое неделимое существо — *индивидуум*. Как во всяком произведении природы, от ее низшей организации — минерала, до ее высшей организации — человека, нет ничего ни недостаточного, ни лишнего; но всякий орган, всякая жилка, даже недоступная невооруженному глазу, необходима и находится на своем месте: так и в созданиях искусства не должно быть ничего ни недоконченного, ни недостающего, ни излишнего; но всякая черта, всякий образ и необходим, и на своем месте. В природе есть произведения неполные, уродливые, вследствие несовершенства организации; если они, несмотря на то, живут, — значит, что получившие ненормальное образование органы не составляют важнейших частей организма или что ненормальность их не важна для целого организма. Так и в художественных созданиях могут быть недостатки, причина которых заключается не в совершенно правильном ходе процесса их явления, то есть в большем или меньшем участии личной воли и рассудка художника, или в том, что он недостаточно выносил в своей душе идею создания, не дал ей вполне сформироваться в определенные и оконченные образы. И такие произведения не лишаются чрез подобные недостатки своей художественной сущности и ценности. Но, как в произ-

ведениях природы слишком неправильное развитие органов производит уродов, которые, родясь, тотчас и умирают, так и в сфере искусства есть произведения, не переживающие минуты своего рождения. Вот такие-то произведения искусства могут быть и перерабатываемы, и принаровляемы к случаю и к обстоятельствам, и о таких-то произведениях говорится, что в них есть и красоты и недостатки. Но истинно художественные произведения не имеют ни красот, ни недостатков: для кого доступна их целостность, тому видится *одна* красота. Только близорукость эстетического чувства и вкуса, не способная обнять целое художественного произведения и теряющаяся в его частях, может в нем видеть красоты и недостатки, приписывая ему собственную свою ограниченность.

Все, что ни есть в действительности, есть обособление общего духа жизни в частном явлении. Всякая организация есть свидетельство присутствия духа: где организация, там и жизнь, а где жизнь, там и дух. И потому, как всякое произведение природы, от минерала и былинки до человека, есть обособление общего духа жизни в частном жизни, так и всякое создание искусства есть обособление общей мировой идеи в частный образ, в самом себе замкнутый. Организация есть сущность того процесса, чрез который является все живое и нерукотворное, следовательно, и все произведения природы и искусства. И потому-то те и другие так целостны, так полны, окончены, словом, *замкнуты в самих себе*.

Но что же такое эта «замкнутость»? — спросят нас наконец. Отвечаем: это вещь столько же простая, сколько и мудреная, — и удовлетворительно ответить на этот вопрос столько же легко, сколько и трудно. Что такое дух? Что такое истина? Что такое жизнь? Как часто предлагаются такие вопросы, и как часто



делаются на них ответы! Вся жизнь человеческая есть не что иное, как подобные вопросы, стремящиеся к разрешению. И что же? — для многих ли решена загадка и найдено слово? Отчего же так? Да оттого, что все вопросы и предлагаются и решаются *словом*, и слово есть или мысль, или пустой звук: кто в самой натуре своей, внутри самого себя, в таинственном святилище духа своего носит возможность решений таких вопросов, — возможность, которая называется *предощущением, предчувствием, чувством, внутренним созерцанием, внутренним ясновидением истины, врожденными идеями* и проч., — для того слово есть мысль, и, услышав его, он принимает в себя значение, заключенное в этом слове. Причина такой *понятливости* заключается в сродстве, или, лучше сказать, в тождестве познающего с познаваемым. Но и самое это тождество требует большего развития: иначе *понятливость* тупеет, и вопросы остаются безответны. Но у кого нет этого тождества с предметами его познания, для того слово — пустой звук: ухо его услышит слово, но разум останется глух для него. Вот почему вопросы, о которых мы говорим, столько же просты, сколько и мудрены, и отвечать на них столько же легко, сколько и трудно. Однако ж мы попытаемся здесь навести читателей на идею того, что мы называем, в природе и искусстве, *замкнутостью*. Посмотрите на цветущее растение: вы видите, что оно имеет свою определенную форму, которою отличается оно не только от существ в других царствах природы, но даже и от растений разного с ним рода и вида; его листики расположены так симметрично, так пропорционально, каждый из них так тщательно, с такою заботливостью, с таким бесконечным совершенством отделен и изукрашен до малейших подробностей... Как роскошно-прекрасен

его цветов, сколько на нем жилочек, оттенков, какая нежная и яркая пыль... И какое, наконец, упительное благоухание!.. Но все ли тут? О нет! Это только внешняя форма, выражение внутреннего: эти чудные краски вышли изнутри растения, этот обаятельный аромат есть его бальзамическое дыхание... Там, внутри его ствола, целый новый мир: там самодеятельная лаборатория жизненности, там, по тончайшим сосудцам дивно правильной отделки, течет влага жизни, струится невидимый эфир духа... Где же начало и причина этого явления? В нем самом: оно было уже, когда еще не было растения, когда было только зерно. Уже в этом зерне заключался и корень, и ствол, и красивые листочки, и пышный ароматический цвет! Видите ли, в этом цветке все, что ему нужно: и жизнь, и источник жизни, и явление, и причина явления, и растительность, и все орудия, органы и сосуды растительности; а между тем, где вы усмотрите начало или конец всего этого? Вы видите, что это растение полно и совершенно само в себе, не имеет ничего недостающего ему и ничего лишнего, что оно живо и индивидуально: но где же пружина его жизни, исходный пункт его индивидуальности? где? Они *замкнуты* в нем, потому оно есть совершенно целое, оконченное, словом — *замкнутое в самом себе* органическое существо. Но растение связано с землею, в которой первоначально развивается и из которой получает питание, дающее ему материалы для развития и поддержания его бытия; посмотрите на животное: оно одарено способностью произвольного движения, оно всего носит себя с самим собою: оно есть и растение, которое растет из почвы и на почве, оно есть и почва, из которой и на которой растет. Смотря на него извне, мы видим явление; вскрыв его организм, мы видим источник явления: там кости

язаны сухими жилками, сгибы членов смазаны па-  
скою, которая заготавливается в особых железах, му-  
сулы протканы нервами... Но и тут вы еще не все  
идите: возьмите микроскоп, увеличивающий в ми-  
льон раз, — и вас поразит благоговейным изумлени-  
ем эта бесконечность организации: вы увидите, что  
тысячи ваших жизней недостаточно, чтобы толь-  
ко перечислить эти тончайшие нити, полные перво-  
ушних сил природы, — и каждая ниточка, каждая  
рибра необходима для целого и не может быть ни  
исключена, ни заменена без искажения целой фор-  
мы; между малейшими органами нет и такого пусто-  
го пространства, где бы мог улечься невидимый для  
простого глаза атом; все внутреннее так тесно и не-  
разрывно слито с внешнею формою, что одно замыка-  
ет в себе другое, а целое есть замкнутое в самом себе  
существо... Человек представляет, в этом отношении,  
несравненно высшее и поразительнейшее зрелище:  
сообщенный и слитый со всею природою и тайною  
жизни природы, — он во всем, вне себя, видит осу-  
ществившиеся законы собственного разума, и вели-  
кое *все* нашло в нем свой орган, отделившись в нем от  
самого себя, чтобы взглянуть на себя и сознать себя.  
*Общее и безразличное* стало в нем *частным и особ-*  
*ным*, чтобы через эту *частность и особенность* снова  
возвратиться к своей *общности*, сознав ее. Закон *обо-*  
*собления и замкнутости* в частном явлении обще-  
го есть основной закон мировой жизни!.. И в искус-  
стве он открывается с таким же полновластием, как  
и в природе: в уразумении тайны закона обособления  
заключается разгадка тайны искусства. Творческая  
мысль, запав в душу художника, *организуется*  
в полное, целостное, оконченное, особое и замкну-  
тое в себе художественное произведение. Обратите  
все ваше внимание на слово «организуется»: толь-

ко органическое развивается из самого себя, только развивающееся из самого себя является целостным и особным с частями пропорционально и живо сочлененными и подчиненными одному общему. Вот почему, например, роман Вальтера Скотта, наполненный таким множеством действующих лиц, несколько не похожих одно на другое, представляющий такое сцепление разнообразных происшествий, столкновений и случаев, поражает вас одним *общим* впечатлением, дает вам созерцание чего-то единого, — вместо того чтобы спутать и сбить вас этим калейдоскопическим множеством характеров и событий. По той же причине и каждое лицо в романе существует для вас само по себе; вы видите его перед собою во весь рост, во всей его характеристической особенности, и никогда уже не забудете его, а если и забудете, то, перечитывая роман вновь, хотя бы через двадцать лет, тотчас увидите, что это лицо вам знакомо, что вы где-то уже видели его. Но *целое* романа — его колорит, его индивидуальная особенность, его *нечто*, для выражения которого нет слова, — еще памятнее вам, нежели каждое слово в особенности: уже и лица всех романов и содержания их изгладились из вашей памяти, но с словами: «Ламермурская невеста», «Иванго»<sup>1</sup>, «Шотландские пуритане» и пр., никогда не перестанут для вас соединяться совершенно различные понятия... Как какое-то неясное видение, как аккорд, внезапно в вышине раздавшийся, как благоухание, мимо вас мгновенно пронесшееся, будет вам, как в тумане, представляться *индивидуальная общность* каждого романа...

Все сказанное нами очень нетрудно приложить к роману г. Лермонтова. Для этого мы должны про-

---

<sup>1</sup> «Айвенго».

следить в его содержании, уже хорошо известном читателям, развитие основной мысли.

Роман начинается описанием переезда автора из Тифлиса чрез Кайшаурскую долину. Не утомляя скучными подробностями, знакомит он нас с местностью. Очерки его столько же кратки, сколько и резки, а главное — они набросаны как будто бы мимоходом. В то время как его тележку тащили в гору шесть быков и несколько осетин, он заметил, что за его тележкой двигалась другая, которую тащили четыре быка, а за нею шел ее хозяин, куря из маленькой трубочки. Это был офицер, лет пятидесяти, с смуглым лицом и преждевременными поседевшими усами, которые не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Автор подошел к нему и поклонился; тот молча ответил на его поклон, пустив огромный клуб дыма.

— Мы с вами попутчики, кажется?

Он молча опять поклонился.

— Вы, верно, едете в Ставрополь?

— Так-с точно... с казенными вещами...

— Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащат шутя, а мою пустую шесть скотов едва подвигают с помощью этих осетин?

Он лукаво улыбнулся и значительно взглянул на меня.

— Вы, верно, недавно на Кавказе?

— С год, — отвечал я.

Он улыбнулся вторично.

— А что ж?

— Да так-с! Ужасные бестии эти азиаты! Вы думаете, они помогают, что кричат? А черт их знает, что они кричат? Быки-то их понимают: запрягите хоть

двадцать, так коли они крикнут по-своему, быки все ни с места... Ужасные плуты! А что ж с них возьмешь?.. Любят деньги драть с проезжающих... Избивали мошенников! Увидите, они еще с вас возьмут на водку. Уж я их знаю, меня не проведут!

— А вы давно здесь служите?

— Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче, — отвечал он, присанившись. — Когда он приехал на Линию, я был подпоручиком, — прибавил он, — и при нем получил два чина за дела против горцев.

— А теперь вы?..

— Теперь считаюсь в третьем линейном батальоне.

А вы, смею спросить?

Я сказал ему.

Таким образом завязалось у автора знакомство с одним из интереснейших лиц его романа — с *Максимом Максимычем*, с этим типом старого кавказского служаки, закаленного в опасностях, трудах и битвах, которого лицо так же загорело и сурово, как манеры простоваты и грубы, но у которого чудесная душа, золотое сердце. Это тип чисто русский, который художественным достоинством создания напоминает оригинальнейшие из характеров в романах Вальтера Скотта и Купера, но который, по своей новости, самобытности и чисто русскому духу, не походит ни на один из них. Искусство поэта должно состоять в том, чтобы развить на деле задачу: как данный природою характер должен образоваться при обстоятельствах, в которые поставит его судьба. Максим Максимыч получил от природы человеческую душу, человеческое сердце, но эта душа и это сердце отлились в особую форму, которая так и говорит вам о многих годах

тяжелой и трудной службы, о кровавых битвах, о затворнической и однообразной жизни в недоступных горных крепостях, где нет других человеческих лиц, кроме подчиненных солдат да заходящих для мены черкесов. И все это высказывается в нем не в грубых поговорках, вроде «черт возьми», и не в военных восклицаниях, вроде «тысяча бомб», беспрестанно повторяемых, не в попойках и не в курении табака, — и во взгляде на вещи, приобретенном навыком и родом жизни, и в этой манере поступков и выражения, которые должны быть необходимым результатом взгляда на вещи и привычки. Умственный кругозор Максима Максимыча очень ограничен; но причина этой ограниченности не в его натуре, а в его развитии. Для него «жить» значит «служить» и служить на Кавказе; «азиаты» его природные враги: он знает по опыту, что все они большие плуты и что самая их храбрость есть отчаянная удаля разбойничья, подстрекаемая надеждою грабежа; он не дается им в обман, и ему смертельно досадно, если они обманут новичка и еще выманят у него на водку. И это совсем не потому, чтобы он был скуп, — о нет! он только беден, а не скуп, и сверх того, кажется, и не подозревает цены деньгам, но он не может видеть равнодушно, как плуты «азиаты» обманывают честных людей. Вот чуть ли не все, что он видит в жизни или, по крайней мере, о чем чаще всего говорит. Но не спешите вашим заключением о его характере; познакомьтесь с ним получше, — и вы увидите, какое теплое, благородное, даже нежное сердце бьется в железной груди этого, по-видимому, очерстневшего человека; вы увидите, как он каким-то инстинктом понимает все человеческое и принимает в нем горячее участие; как, вопреки собственному сознанию, душа его жаждет

любви и сочувствия, — и вы от души полюбите простого, доброго, грубого в своих манерах, лаконичского в словах Максима Максимыча.

Опытный штабс-капитан не ошибся: осетинцы обступили неопытного офицера и громко требовали на водку. Но Максим Максимыч грозно прикрикнул на них и заставил разбежаться. «Ведь этакой народ, — сказал он, — и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил: «офицер, дай на водку!» ... Уж татары по мне лучше: те хоть непьющие...»

Вот наконец путешественники наши добрались до станции и вошли в саклю, переднее отделение которой было наполнено коровами и овцами, а другое людьми, сидевшими возле огня, разложенного на земле. По полу расстилался дым, обратно вталкиваемый ветром из отверстия в потолке. Наши путники закурили трубки, внимая приветливому шипению чайника.

— Жалкие люди! — сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении.

— Преглупый народ! — отвечал он. — Поверите ли, ничего не умеют, неспособны ни к какому образованию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы, хотя разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на ком не увидишь. *Уж подлинно осетины!*

— А вы долго были в Чечне?

— Да, я лет десяток стоял там в крепости с ротою, у Каменного Брода, — знаете?

— Слыхал.

— Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы; нынче, слава богу, смирнее, а бывало, на сто шагов отойдешь за вал, уж где-нибудь косматый дьявол си-



дит и караулит: чуть зазевался, того и гляди — либо аркан на шее, либо пуля в затылке. А *молодцы!*..

— А, чай, много с вами бывало приключений? — сказал я, подстрекаемый любопытством.

— Как не бывать! бывало...

Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался.

И вот Максим Максимыч весь перед вами, с своим взглядом на вещи, с своим оригинальным способом выражения! Вы еще так мало видели его, так мало познакомились с ним, а уже перед вами не призрак, волею или неволею принужденный автором служить связью или вертеть колесо его рассказа, а типическое лицо, оригинальный характер, живой человек! Так осуществляют свои идеалы истинные художники: две, три черты — и перед вами, как живая, словно наяву, стоит такая характеристическая фигура, которой вы уже никогда не забудете... «Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался»: как много сказано в этих немногих, простых словах, какую резкую черту проводят они по физиономии Максима Максимыча, как много обещают, как сильно разманивают любопытство читателя!..

Приняв поданный ему стакан чая, Максим Максимыч отхлебнул и сказал как будто про себя: «Да, бывает!» Но мы еще должны несколько поговорить словами самого автора:

Это восклицание подало мне большие надежды. Я знаю, старые кавказцы любят поговорить, порассказать; им так редко это удается: другой лет пять стоит где-нибудь в захолустье с ротой, и целые пять лет ему никто не скажет *здравствуйте* (потому что фельдфебель говорит *здравия желаю*). А поболтать

было бы о чем: кругом народ дикий, каждый день опасность, случаи бывают чудные, и тут поневоле пожалеешь о том, что у нас так мало записывают.

— Не хотите ли подбавить рома? — сказал я моему собеседнику, — у меня есть белый из Тифлиса; теперь холодно.

— Нет-с, благодарствуйте, не пью.

— Что так?

— Да так. Я дал себе заклятье. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога; вот мы и вышли перед фронт навеселе, да уж и досталось нам, когда Алексей Петрович узнал: не дай господи, как он рассердился! Чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно: другой раз целый год живешь, никого не видишь, да как тут еще водка — пропавший человек!

Услышав это, я почти потерял надежду.

— Да вот хоть черкесы, — продолжал он, — как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насилу ноги унес, а еще у мирнова князя был в гостях.

— Как же это случилось?

Вот начало поэтической истории «Бэлы». Максим Максимыч рассказал ее по-своему, своим языком; но от этого она не только ничего не потеряла, но бесконечно много выиграла. Добрый Максим Максимыч, сам того не зная, сделался поэтом, так что в каждом его слове, в каждом выражении заключается бесконечный мир поэзии. Не знаем, чему здесь более удивляться: тому ли, что поэт, заставив Максима Максимыча быть только свидетелем рассказываемого им события, так тесно слил его личность с этим событием, как будто бы сам Максим Максимыч был его героем, или тому, что он сумел

так поэтически, так глубоко взглянуть на событие глазами Максима Максимыча и рассказать это событие языком простым, грубым, но всегда живописным, всегда трогательным и потрясающим даже в самом комизме своем?..

Когда Максим Максимыч стоял в крепости за Теремом, к нему вдруг явился офицер, прикомандированный к его крепости.

— Его звали... Григорьем Александровичем *Печориным*, славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте; все иззябнут, устанут, а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате: ветер пахнет — уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрагивает и побледнеет, а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха. Да-с, с большими странностями и, должно быть, богатый человек: сколько у него было разных дорогих вещей!..

— А долго ли он с вами жил? — спросил я опять.

— Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он много хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!

— Необыкновенные! — воскликнул я, с видом любопытства, подливая ему чая.

— А вот я вам расскажу.

Недалеко от крепости жил мирной князь, сын которого, мальчик лет пятнадцати, повадился ездить в крепость. Печорин и Максим Максимыч любили и ба-

ловали его. Это был прототип черкеса, без преувеличения и без искажения. Головорез, *проворный на все*, по словам Максима Максимыча: он поднимал шапку на всем скаку, мастерски стрелял из ружья и был ужасно падок на деньги. Если его дразнили, глаза его наливались кровью, а рука хваталась за кинжал. «Эй, Азамат, — говаривал ему Максим Максимыч, — не сносить тебе головы: яман будет твоя башка!»

Однажды старый князь приехал в крепость и позвал Максима Максимыча и Печорина на свадьбу своей дочери. Когда они приехали в аул, прятавшиеся от них женщины не показались красавицами Печорину. «Погодите, сказал я, усмехаясь (говорил Максим Максимыч). У меня было свое на уме».

Из этого места рассказа Максима Максимыча можно получить самое верное понятие о нравах и обычаях диких черкесов, хотя для их описания он и не делает отступлений. Как к почетному гостю, к Печорину подошла меньшая дочь хозяина, прекрасная девушка лет шестнадцати, и пропела ему...

— Как бы сказать?.. вроде комплимента.

— А что ж такое она пропела, не помните ли?

— Да, кажется, вот так: «Стройны, *дескать*, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду».

Печорин встал, приложил руку ко лбу и сердцу, а Максим Максимыч перевел ей его ответ, ибо он хорошо знал *по-ихнему*. «Какова?» — шепнул он Печорину. «Прелесть! А как ее зовут?» — «Бэлою».

«И точно (говорил Максим Максимыч), она бы-

ли хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали вам в душу». Печорин в задумчивости не сводил с нее глаз, но не один он смотрел на нее. В числе гостей был черкес Казбич. Он был мирным, и не мирным, смотря по обстоятельствам; подозрений было на него множество, хоть он не был замечен ни в какой шалости. Но мы почитаем необходимым вполне обрисовать это лицо, и именно словами Максима Максимыча.

Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок-то был, как бес! Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде, — и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники, и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная, как смоль, ноги-струнки, и глаза не хуже, чем у Бэлы; а какая сила! скачи хоть на 50 верст; а уж выезжена — как собака бегаёт за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойническая лошадь!

В этот вечер Казбич был угрюмее обыкновенного, и Максим Максимыч, заметив, что у него под бешметом надета кольчуга, тотчас подумал, что это недаром. Так как в сакле стало душно, он вышел освежиться и вздумал, кстати, проведать лошадей. Тут, за забором, он подслушал разговор: Азамат похваливал лошадь Казбича, на которую давно зарился; а Казбич, подстрекнутый этим, рассказывал о ее достоинствах и услугах, которые она ему оказала, не раз спасая его от верной смерти. Это место повести

вполне знакомит читателя с черкесами как с племенем, и в нем могучею художнической кистью обрисованы характеры Азамата и Казбича, этих двух резких типов черкесской народности. «Если б у меня был табун в тысячу кобыл, то отдал бы весь за твоего Карагёза», — сказал Азамат. «Йок, не хочу», — равнодушно отвечал Казбич. Азамат льстит ему, обещает украсть у отца лучшую винтовку или пашку, которая, только приложи руку к лезвию, сама впивается в тело, кольчугу... В его словах так и дышит знойная, мучительная страсть дикаря и разбойника по рождению, для которого нет ничего в мире дороже оружия или лошади и для которого желание — медленная пытка на малом огне, а для удовлетворения жизнь собственная, жизнь отца, матери, брата — ничто. Он говорил, что с тех пор, как в первый раз увидел Карагёза, когда он кружился и прыгал под Казбичем, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, что с тех пор в его душе сделалось что-то непонятное, все ему опостылело... Можно подумать, что он рассказывал о любви или ревности, чувствах, которых действие часто бывает так страшно и в людях образованных, а тем страшнее в дикарях. «На лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением (говорил Азамат), стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя, просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям моим является вороной скакун твой, с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым, как стрела, хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его». Проговорив это дрожащим голосом, он заплакал. Так, по крайней мере, показалось Максиму Максимычу, который знал Азама-

ти, как преупрямого мальчишку, у которого ничем нельзя было вышибить слез, когда он был и моложе. Но в ответ на слезы Азамата послышалось что-то вроде смеха. «Послушай! — сказал твердым голосом Азамат, — видишь, я на все решаюсь. Хочешь, и украду для тебя мою сестру? Как она пляшет! как поет! а вышивает золотом — чудо! Не бывало такой жены и у турецкого падишаха... Неужели не стоит Вэла твоего скакуна?..»

Казбич долго молчал и наконец, вместо ответа, затянул вполголоса старинную песню, в которой коротко и ясно выражена вся философия черкеса:

Много красавиц в аулах у нас,  
Звезды сияют во мраке их глаз,  
Сладко любить их, завидная доля;  
Но веселей молодецкая воля.  
Золото купит четыре жены,  
Конь же лихой не имеет цены:  
Он и от вихря в степи не отстанет,  
Он не изменит, он не обманет.

Напрасно Азамат упрашивал, плакал, льстил ему. «— Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне! На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок о камни! — Меня! — крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело о кольчугу». Казбич оттолкнул его так, что он упал и ударился головой о плетень. «Будет потеха!» — подумал Максим Максимыч, взнуздal коней и вывел их на задний двор. Между тем Азамат вбежал в саклю в разорванном бешмете, говоря, что Казбич хотел его зарезать. Поднялся гвалт, раздались выстрелы, но Казбич уже вертелся на своем коне среди улицы и ускользнул.

Никогда себе не прощу одного: черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорию Александровичу все, что я слышал, сидя за забором; он поспеялся — такой хитрый! — а сам задумал кое-что.

— А что такое? Расскажите, пожалуйста.

— Ну уж нечего делать, начал рассказывать, так надо продолжать.

Дня через четыре приехал в крепость Азамат. Печорин начал ему расхваливать лошадь Казбича. У татарчонка засверкали глаза, а Печорин будто не замечает. Максим Максимыч заговорит о другом, а Печорин сведет разговор на лошадь. Это продолжалось недели три; Азамат видимо бледнел и чахнул. Короче: Печорин предложил ему чужого коня за его родную сестру; Азамат задумался: не жалость к сестре, а мысль о мщении отца потревожила его, но Печорин кольнул его самолюбие, назвав ребенком (название, которым все дети очень оскорбляются!). А Карагёз — такая чудная лошадь!.. И вот однажды Казбич приехал в крепость и спрашивает, не надо ли баранов и меда; Максим Максимыч велел привести на другой день. «Азамат! — сказал Печорин, — завтра Карагёз в моих руках; если нынче ночью Бэла не будет здесь, не видать тебе коня». Хорошо! — сказал Азамат, поскакал в аул, и в тот же вечер Печорин возвратился в крепость вместе с Азаматом, у которого поперек седла (как видел часовой) лежала женщина, с связанными ногами и руками, с головою, опутанною чадрой. На другой день Казбич явился в крепости с своим товаром; Максим Максимыч попотчевал его чаем, и потому что (говорил он) хотя разбойник он, «а все-таки был моим кунаком». Вдруг Казбич посмотрел в окно, вздрогнул, побледнел и с криком:



«Моя лошадь! лошадь!» выбежал вон, перескочил через ружье, которым часовой хотел загородить ему дорогу. Вдали скакал Азамат; Казбич выхватил из чехла ружье, выстрелил и, уверившись, что дал промаха, завизжал, вдребезги разбил ружье о камень, повалился на землю и зарыдал, как ребенок. Так пролежал он до поздней ночи и целую ночь, не дотрогиваясь до денег, которые велел положить подле него Максим Максимыч за баранов. На другой день, узнавши от часового, что похититель был Азамат, он засверкал глазами и отправился отыскивать его. Отца Бэлы в это время не было дома, а возвратившись, он не нашел ни дочери, ни сына...

Как только Максим Максимыч узнал, что черкешенка у Печорина, он надел эполеты, шпагу и пошел к нему. Здесь следует сцена такая прекрасная, что мы не можем удержаться, чтобы не пересказать ее устами самого Максима Максимыча:

Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а в другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил... Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог, только он притворился, будто не слышит.

— Господин прапорщик! — сказал я как можно строже. — Разве вы не видите, что я к вам пришел?

— Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли трубку? — отвечал он, не приподымаясь.

— Извините! Я не Максим Максимыч: я штабс-капитан.

— Все равно. Не хотите ли чаю? Если б вы знали, какая меня мучит забота!

— Я все знаю, — отвечал я, подошед к кровати.

— Тем лучше: я не в духе рассказывать.

— Г-н прапорщик, вы сделали проступок, за который и я могу отвечать...

— И, полноте! что ж за беда? Ведь у нас давно все пополам.

— Что за шутки! пожалуйста вашу шпагу!

— Митька, шпагу!

Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал: «Послушай, Григорий Александрович, признайся, что не хорошо».

— Что не хорошо?

— Да то, что ты увез Бэлу... Уж эта мне бестия Азамат!.. Ну признайся, — сказал я ему.

— Да когда она мне нравится?..

Ну, что прикажете отвечать на это? Я стал в тупик. Однако ж, после некоторого молчания, я ему сказал, что если отец станет требовать, надо будет ее отдать.

— Вовсе не надо!

— Да он узнает, что она здесь!

— А как он узнает?

Я опять стал в тупик. «Послушайте, Максим Максимич! — сказал Печорин, приподнявшись, — ведь вы добрый человек, а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только охотой портить; оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...»

— Да покажите мне ее, — сказал я.

— Она за этою дверью; только я сам нынче напрасно хотел ее видеть: сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит: пуглива, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу: она знает потатарски, будет ходить за нею и приучит ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня, — прибавил он, ударив кулаком

по столу. Я и в этом согласился... Что же прикажете делать! Есть люди, с которыми непременно должно согласиться.

Нет ничего тяжелее и неприятнее, как излагать содержание художественного произведения. Цель этого изложения не состоит в том, чтоб показать лучшие места: как бы ни было хорошо место сочинения, оно хорошо по отношению к целому, следовательно, изложение содержания должно иметь целию — проследить идею целого создания, чтобы показать, как верно она осуществлена поэтом. А как это сделать? Целого сочинения переписать нельзя; но каково же выбирать места из превосходного целого, пропускать иные, чтобы выписки не перешли должных границ? И потом, каково связывать выписанные места своим прозаическим рассказом, оставляя в книге тени и краски, жизнь и душу, и держась одного мертвого скелета? Теперь мы особенно чувствуем всю тяжесть и неудобоисполнимость взятой нами на себя обязанности. Мы и до сего места терялись во множестве прекрасных частных, а теперь, когда начинается важнейшая часть повести, теперь нам так и хотелось бы выписать от слова до слова весь рассказ автора, в котором каждое слово так бесконечно значительно, так глубоко знаменательно, дышит такою поэтической жизнью, блестит таким роскошным богатством красок; а между тем по-прежнему принуждены *пересказывать* по-своему, сколько возможно держась выражений подлинника и выписывая места.

Холодно смотрела Бэла на подарки, которые каждый день приносил ей Печорин, и гордо отталкивала их. Долго безуспешно ухаживал он за нею. Между

тем он учился по-татарски, а она начинала понимать по-русски. Она стала изредка и посматривать на него, но все исподлобья, искоса, и все грустила, напевала свои песни вполголоса, «так что (говорил Максим Максимыч), бывало, и мне становилось грустно, когда слушал ее из соседней комнаты». Уговаривал ее полюбить себя, Печорин спросил ее, не любит ли она какого-нибудь чеченца, и прибавил, что в таком случае он сейчас отпустит ее домой. Она вздрогнула едва приметно и покачала головой... «Или я тебе совершенно ненавистен?» Она вздохнула. «Или твоя вера запрещает полюбить меня?» Она побледнела и молчала. Потом он ей сказал, что Аллах один для всех племен и что если он ему позволил полюбить ее, то почему же запретит ей полюбить его. Этот довод, казалось, поразил ее, и в ее глазах выразилось желание убедиться. «Если ты будешь грустить, — говорил он ей, — я умру. Скажи, ты будешь веселей?» Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих, потом улыбнулась и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал уговаривать, чтобы она его поцеловала; она слабо защищалась и только повторяла: *«поджалуста, поджалуста, не нада, не нада!»* Какая грациозная и в то же время какая верная натуре черта характера! Природа нигде не противоречит себе, и глубокость чувства, достоинства и грациозность непосредственности так же иногда поражают и в дикой черкешенке, как и в образованной женщине высшего тона. Есть манеры столь грациозные, есть слова столь благоухающие, что одного или одной из них достаточно, чтобы обрисовать всего человека, выказать наружу все, что кроется внутри его. Не правда ли: слыша это милое, простодушное *«поджалуста, поджалуста, не нада, не нада!»*, вы

видите перед собою эту очаровательную, черноокую Бэлу, полудикую дочь вольных ущелий, и вас так обаятельно поражает в ней эта гармония, эта особенность женственности, которая составляет всю прелесть, все очарование женщины?..

Он стал настаивать, она задрожала и заплакала. «Я твоя пленница, твоя раба, — говорила она, — конечно, ты можешь меня принудить», — и опять слезы. «Дьявол, а не женщина! — сказал он Максиму Максимычу, — только я даю вам мое честное слово, что она будет моя...»

Однажды он вошел к ней, одетый по-черкесски и вооруженный, сказал ей, что он виноват перед нею, что он оставляет ее хозяйкой всего, что имеет, дает ей волю и сам идет, куда глаза глядят, может быть, под пулю...

Он отвернулся и протянул ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только, стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо: и мне стало жаль, такая смертельная бледность покрыла это милое личико! Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери; он дрожал, и — сказать ли вам? — я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек, бог его знает! Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Поверите ли? Я, стоя за дверью, также заплакал, то есть, знаете, не то чтобы заплакал, а так, глупость!..

Штабс-капитан замолчал.

— Да, признаюсь, — сказал он потом, теребя усы, — мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила.

Скоро узнал счастливый Печорин, что Бэла полюбила его с первого взгляда. Да, это была одна из тех глубоких женских натур, которые любят мужчину тотчас, как увидят его, но признаются ему в любви не тотчас, отдадутся нескоро, а отдавшись, уже не могут больше принадлежать ни другому, ни самим себе... Поэт не говорит об этом ни слова, но потому что он и поэт, что, не говоря *иного*, дает знать *все*...

Они были счастливы, но не завидуйте им, читатель: кто смеет надеяться на прочное счастье в этой жизни?.. Минута ваша, ловите же ее, не надеясь на будущее... Недолго продолжалось и твое блаженство, бедная, милая Бэла!..

Вскоре Печорин и Максим Максимыч узнали, что отец Бэлы был убит Казбичем, подозревавшим его в участии в похищении Карагёза. От Бэлы долго скрывали это, пока она не привыкла к своему положению; когда же ей сказали, она дня два поплакала, а потом забыла.

Четыре месяца все шло хорошо. Печорин так любил Бэлу, что забыл для нее и охоту, и не выходил за крепостной вал. Но вдруг стал он задумываться, ходить по комнате, заложив руки на спину. Однажды, никому не сказавшись, отправился на охоту и пропал целое утро, потом опять, и все чаще и чаще. «Нехорошо (подумал Максим Максимыч): верно, между ними пробежала черная кошка!» Одно утро он зашел к ним и увидел Бэлу такую бледненькою, такую печальною, что испугался. Он стал ее утешать. Сообщая ему свои страхи и опасения, она сказала ему:

— А нынче мне уж кажется, что он меня не любит.

— Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать! — Она заплакала, потом с гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:

— Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это так будет продолжаться, то я сама уйду: я не раба его, а княжеская дочь!..

Утешая ее, Максим Максимыч заметил ей, что если она будет грустить, то скорее наскутит Печорину.

— Правда, правда, — отвечала она, — я буду весела! — И с хохотом схватила свой бубен, начала петь, плясать и прыгать около меня: только и это не было продолжительно, она упала на постель и закрыла лицо руками.

Что было мне с нею делать? Я, знаете, никогда с женщинами не обращался: думал, думал, чем ее утешить, и ничего не придумал; несколько времени мы оба молчали... Пренеприятное положение-с!..

Вышедши с нею прогуляться за крепость, Максим Максимыч увидел черкеса, который вдруг выехал из леса и, саженьх во сто от них, начал как бешеный кружиться: Бэла узнала в нем Казбича...

Наконец Максим Максимыч объяснился с Печориным насчет его охлаждения к Бэле, и вот какой получил от него ответ:

«Послушайте, Максим Максимыч, у меня несчастный характер: воспитание ли меня сделало таким, бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причину несчастья других, то и сам не менее несчастлив. Разумеется, это им плохое утешение, только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я тал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разу-

меется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц, и был любим, но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться — науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно... Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями — напрасно: чрез месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров, и мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Бэлу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательною судьбою... Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких, я за нее отдаю жизнь, только мне с нею скучно... Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я также очень достоин сожаления, может быть, больше, нежели она: во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне все мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день от дня; мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь, только не в Европу, избави боже! Поеду в Америку, в Аравию, в Индию, авось где-нибудь



умру на дороге! По крайней мере, я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится, с помощью бурь и дурных дорог». Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от 25-летнего человека, и, бог даст, в последний... Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста, — продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне, — вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужто тамошняя молодежь вся такова?

Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое; что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду: что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастье, как порок. Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво:

— А все, чай, французы ввели моду скучать?

— Нет, англичане.

— Ага! вот что!.. — отвечал он, — да ведь они всегда были отъявленные пьяницы.

Итак, Печорин охладел к бедной Бэле, которая любила его еще больше. Он не знает сам причины своего охлаждения, хотя и силится найти ее. Да, нет ничего труднее, как разбирать язык собственных чувств, как знать самого себя! И объяснения автора для нас так же неудовлетворительны, как и для Максима Максимыча, которому он их сообщил. Может быть, и тут та же причина, и в отношении к автору, и в отношении к нам: нет ничего труднее, как знать и понимать самих себя!.. Но тем не менее мы предложим и наше решение, или, лучше сказать, и наше гадание об этом столько же общим, сколько и грустном

феномене человеческого сердца, который особенно част и поразителен в современном обществе. В числе причин скорого охлаждения Печорина к Бэле не было ли причиною его и то, что для бессознательного, чисто естественного, хотя и глубокого чувства черкешенки Печорин был полным удовлетворением, далеко превосходящим самые дерзкие ее требования; тогда как дух Печорина не мог найти своего удовлетворения в естественной любви полудикого существа. К тому же, ведь одно наслаждение далеко еще не составляет всех потребностей любви, и что могла дать Печорину любовь, кроме наслаждения? О чем мог он говорить с нею? что оставалось для него в ней неразгаданного? Для любви нужно разумное содержание, как масло для поддержки огня; любви есть гармоническое слияние двух родственных натур в чувство бесконечного. В любви Бэлы была сила, но не могло быть бесконечности: сидеть с глаза на глаза с возлюбленным, ласкаться к нему, принимать его ласки, предугадывать и ловить его желания, млеть от его лобзаний, замирать в его объятиях, — вот все, чего требовала душа Бэлы; при такой жизни и вечность показалась бы для нее мгновением. Но Печорина такая жизнь могла увлечь не больше, как на четыре месяца, и еще надо удивляться силе его любви к Бэле, если она была так продолжительна. Сильная потребность любви часто принимается за самую любовь, если представится предмет, на который она может устремиться; препятствия превращают ее в страсть, а удовлетворение уничтожает. Любовь Бэлы была для Печорина полным бокалом сладкого напитка, который он и выпил зараз, не оставив в нем ни капли; а душа его требовала не бокала, а океана, из которого можно ежеминутно черпать, не уменьшая его...

Однажды Печорин отправился с Максимом Максимычем на охоту за кабаном. С раннего утра часов до десяти напрасно искали они его; Максим Максимыч уговаривал своего товарища воротиться, не тут-то было: несмотря ни на зной, ни на усталость, тот не хотел воротиться без добычи. «Таков уж был человек: что задумает, подавай; видно, в детстве был маленький избалован». Однако ж, после полудня, они без ничего подъезжали к крепости. Вдруг выстрел: оба они взглянули друг на друга и опрометью поскакали на выстрел. Солдаты в кучку собрались на валу и указывали в поле, а там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Это был Казбич, похитивший неосторожную Бэлу, которая вышла за крепость к реке. Печорину удалось ранить в ногу его коня. Казбич занес руку над Бэлою, Максим Максимыч выстрелил и, кажется, ранил его в плечо; дым рассеялся — на земле лежала раненая лошадь и возле нее Бэла, а Казбич, как кошка, карабкался на утес и скоро скрылся. Они к Бэле — она была ранена, и кровь лилась из раны ручьями...

— И Бэла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы уже с нею измучились порядком. Около десяти часов вечера она пришла в себя; мы сидели у постели; только что она открыла глаза, начала звать Печорина. «Я здесь, подле тебя, моя джанечка» (то есть, по-нашему, душечка), — отвечал он, взяв ее за руку. «Я умру!» — сказала она. Мы начали ее утешать, говорили, что лекарь обещал ее вылечить непременно; — она покачала головой и отвернулась к стене: ей не хотелось умирать!..

Ночью она начала бредить; голова ее горела, по всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки, она

говорила несвязные речи об отце, брате: ей хотелось в горы, домой... Потом она также говорила о Печорине, давая ему разные нежные названия, или упрекала его в том, что он разлюбил свою джанечку.

Он слушал ее молча, опустив голову на руки; но только я во все время не заметил ни одной слезы на ресницах его; в самом ли деле он не мог плакать, или владел собою — не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывал.

К утру, когда прошел бред, она начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Печорина, и что иная женщина будет в раю его подругою... Максим Максимыч предложил ей окреститься; долго она молчала в нерешимости и наконец отвечала, что умрет в той вере, в какой родилась. Так прошел день — страдания ужасно изменили ее прекрасное лицо. Когда боль утихала и она переставала стонать, то уговаривала Печорина идти спать, целовала его руку...

— Перед утром стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбила перевязку, и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтоб он ее поцеловал. Он стал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу... *Нет, она хорошо сделала, что умерла! Ну, что бы с ней случилось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось рано или поздно...*

Перед смертью хриплым голосом закричала она: «воды! воды!»

Он сделался бледен как полотно, схватил стакан, налил и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву, не помню, какую... Да, батюшка, видал я много, как люди умирают в госпиталях и на поле сражения, только все это не то, совсем не то!.. Еще, признаться, меня вот что печалит: она перед смертью ни разу не вспомнила обо мне; а, кажется, я ее любил, как отец... Ну, да бог ее простит!.. И вправду молвить: что же я такое, чтоб обо мне вспоминать перед смертью?..

Только что она испила воды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась. Приложили зеркало к губам — гладко!.. Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал; долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки за спину: его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно. Я бы на его месте умер с горя. Наконец он сел на земле, в тени, и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия хотел утешить его, начал говорить; он поднял голову и засмеялся... У меня мороз пробежал по коже от этого смеха. Я пошел заказывать гроб.

— На другой день, рано утром, мы ее похоронили за крепостью, у вала, где она в последний раз сидела; кругом ее могилы разрослись кусты белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, да, знаете, неловко: все-таки она была не христианка...

— А что Печорин? — спросил я.

— Печорин был долго нездоров, исхудал, бедняжка; только никогда с этих пор мы не говорили о Бэле: я видел, что это будет ему неприятно, так зачем же? — Месяца три спустя его назначили в е...й

полк. Мы с тех пор не встречались... Да, помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было. Впрочем, до нашего брата вести поздно доходят.

Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже, — вероятно, для того, чтоб заглушить печальные воспоминания.

Я не перебивал его и не слушал.

Просим извинения за множество выписок и у автора и у тех из читателей, которые прочтут нашу статью прежде романа: заманчивость первого чтения, сила и прелесть первого впечатления будут для них навсегда потеряны. Впрочем, едва ли кто и не читал «Бэлы»; она напечатана в «Отечественных записках» еще в прошедшем году, да и самый роман давно уже вышел в свет. Что же касается до тех, которые прочтут нашу статью уже после романа, у них через это почти ничего не отнимается; напротив, если мы только хорошо сделали наше дело, они вновь перечувствуют уже испытанное наслаждение, и еще с большею силою. Во всяком случае, нам не было никакой возможности избежать этих выписок. Мы хотели, чтобы в нашем изложении содержания романа видны были и характеры действующих лиц и сохранена была внутренняя жизненность рассказа, равно как и его колорит; а этого невозможно было сделать, показав один скелет содержания или его отвлеченную мысль. Да и в чем содержание повести? Русский офицер похитил черкешенку, сперва сильно любил ее, но скоро охладел к ней; потом черкес увез было ее, но, видя себя почти пойманным, бросил ее, нанесши ей рану, от которой она умерла: вот и все тут. Не говоря о том, что тут очень немного, тут еще

нет и ничего ни поэтического, ни особенного, ни занимательного, а все обыкновенно до пошлости, истерто. Но что же необыкновенного или поэтического, например, и в содержании Шекспирова «Отелло»? Мавр убил страстно любимую им жену из ревности, которую с умыслом возбудил в нем хитрый злодей: разве и это тоже не истерто и не обыкновенно до пошлости? Разве не было написано тысячи повестей, романов, драм, содержание которых — муж или любовник, убивающий из ревности невинную жену или любовницу? Но из всей этой тысячи только одного «Отелло» знает мир и одному ему удивляется. Значит: содержание не во внешней форме, не в сцеплении случайности, а в замысле художника, в тех образах, в тех тенях и переливах красок, которые представлялись ему еще прежде, нежели он взялся за перо, словом — в *творческой концепции*. Художественное создание должно быть вполне готово в душе художника прежде, нежели он возьмется за перо: написать для него уже — второстепенный труд. Он должен сперва видеть перед собою лица, из взаимных отношений которых образуется его драма или повесть. Он не обдумывает, не расчисляет, не теряется в соображениях: все выходит у него само собою, и выходит так, как должно. Событие разворачивается из идеи, как растение из зерна. Потому-то и читатели видят в его лицах живые образы, а не призраки, радуются их радостями, страдают их страданиями, думают, рассуждают и спорят между собою о их значении, их судьбе, как будто дело идет о людях, действительно существовавших и знакомых им. Этого нельзя сделать, сперва придумавши отвлеченное содержание, то есть какую-нибудь завязку и развязку, а потом уже придумавши лица и волею или неволею заставивши их играть сообразные с сочиненною це-

лию роли. Вот почему изложение содержания так затруднительно для критика, и без выписок нельзя ему обойтись: надо сделать его кратко и заставить говорить само за себя разбираемое творение.

Глубокое впечатление оставляет после себя «Бэла»: вам грустно, но грусть ваша легка, светла и сладостна; вы летите мечтою на могилу прекрасной, но эта могила не страшна: ее освещает солнце, омывает быстрый ручей, которого ропот, вместе с шелестом ветра в листьях бузины и белой акации, говорит вам о чем-то таинственном и бесконечном, и над нею, в светлой вышине, летает и носится какое-то прекрасное видение, с бледными ланитами, с выражением укора и прощения в черных очах, с грустною улыбкою... Смерть черкешенки не возмущает вас безотрадным и тяжелым чувством, ибо она явилась не страшным скелетом, по произволу автора, но вследствие разумной необходимости, которую вы предчувствовали уже, и явилась светлым ангелом примирения. Диссонанс разрешился в гармонический аккорд, и вы с умилением повторяете простые и трогательные слова доброго Максима Максимыча: «Нет, она хорошо сделала, что умерла! ну, что бы с ней случилось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось рано или поздно!..»

И с каким бесконечным искусством обрисован грациозный образ пленительной черкешенки! Она говорит и действует так мало, а вы живо видите ее перед глазами во всей определенности живого существа, читаете в ее сердце, проникаете все изгибы его...

А Максим Максимыч, этот добрый простака, который и не подозревает, как глубока и богата его натура, как высок и благороден он? Он, грубый солдат, любит Бэлою, как прекрасным дитятею, любит ее, как милую дочь, — и за что? — спросите его, так



он ответит вам: «Не то чтобы любил, а так — глупость!» Ему досадно, что его ни одна женщина не любила так, как Бэла Печорина; ему грустно, что она не вспомнила о нем перед смертью, хоть он и сам сознается, что это с его стороны не совсем справедливое требование... Останавливаться ли на этих чертах, столь полных бесконечностию? Нет, они говорят сами за себя; а те, для кого они немы, те не стоят, чтоб тратить с ними слова и время. Простая красота, которая есть одна истинная красота, не для всех доступна: у большей части людей глаза так грубы, что на них действует только пестрота, узорочность и красная краска, густо и ярко намазанная...

Характеры Азамата и Казбича — это такие типы, которые будут равно понятны и англичанину, и немцу, и французу, как понятны они русскому. Вот что называется рисовать фигуры во весь рост, с национальною физиономиею и в национальном костюме!..

Обратите еще внимание на эту естественность рассказа, так свободно развивающегося, без всяких натяжек, так плавно текущего собственно силою, без помощи автора. Офицер, возвращающийся из Тифлиса в Россию, встречается в горах с другим офицером; одиночество дорожного положения дает одному право начать разговор с другим и так естественно доводит их до знакомства. Один предлагает чай с ромом — тот отказывается, говоря, что по одному случаю он зарекся пить. Очень естественно, что, сидя в дымной и гадкой сакле, путешественник заводит с товарищем разговор об обитателях сакли: товарищ этот — пожилой офицер, много лет проведенный на Кавказе, естественно, очень охотно разговорился об этом предмете. Вопрос молодого офицера: «А что, много с вами бывало приключений?» так же естествен, как и ответ пожилого: «Как не бывать! бывало...» Но это не при-

ступ к повести, а только еще, как и должно, слабая надежда услышать повесть: автор не погоняет обстоятельство, как лошадей, но дает им самим развиваться. Он предлагает Максиму Максимычу чай с ромом: тот отказывается от рома, говоря, что зарекся пить. Вопрос: «почему?» молодого офицера так же не может быть сочтен натяжкой, как отклик человека, когда его зовут. Ответ Максима Максимыча, в котором он говорит о случае, заставившем его заречься пить вино, уже ожидается самим читателем. Случай этот чисто кавказский: офицеры пировали, как вдруг сделалась тревога. Но рассуждение Максима Максимыча, что иногда год живи — тревоги нет, «да как тут еще водка — пропавший человек», отнимает всякую надежду на повесть; как вдруг он обращается к черкесам, которые, если напьются бузы, так и начнут рубиться, и очень естественно вспоминает один случай. Он и расположен его рассказать, но как бы не хочет навязываться с рассказами. Молодой офицер, которого любопытство давно уже сильно возбуждено, но который умеет умерить его приличием, с притворным равнодушием спрашивает: «Как же это случилось?» — Вот извольте видеть — и повесть началась. Исходный пункт ее — страстное желание мальчика-черкеса иметь лихого коня, — и вы помните эту дивную сцену из драмы между Азаматом и Казбичем. Печорин — человек решительный, алчущий тревог и бурь, готовый рискнуть на все для выполнения даже прихоти своей, — а здесь дело шло о чем-то гораздо большем, чем прихоть. Итак, все вышло из характеров действующих лиц, по законам строжайшей необходимости, а не по произволу автора. Но еще повесть была простым анекдотом, и новые знакомые уже пустились в рассуждения по поводу его, как вдруг Максим Максимыч, у которого воспо-

минание ожило и потребность сообщить его другому возбудилась, как бы говоря с самим собою, прибавил: «Никогда себе не прощу одного: черт дернул меня, приехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу все, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся — такой хитрый! — а сам задумал кое-что». Что может быть естественнее, проще всего этого? Такая естественность и простота никогда не могут быть делом расчета и соображения: они плод вдохновения.

Итак, история Бэлы кончилась; но роман еще только начался, и мы прочли одно вступление, которое, впрочем, и само по себе, отдельно взятое, есть художественное произведение, хотя и составляет только часть целого. Но пойдем далее. В Владикавказе автор опять съехался с Максимом Максимычем. Когда они обедали, на двор въехала щегольская коляска, за которою шел человек. Несмотря на грубость этого человека, «балованного слуги ленивого барина», Максим Максимыч допросился у него, что коляска принадлежит Печорину. «Что ты? Что ты? Печорин?.. Ах, боже мой!.. да не служил ли он на Кавказе?» В глазах Максима Максимыча сверкала радость. «Служил, кажется, да я у них недавно», — отвечал слуга. «Ну так! так!.. Григорий Александрович?.. Так ведь его зовут? Мы с твоим барином были приятели», — прибавил Максим Максимыч, ударив дружески по плечу лакея так, что заставил его пошатнуться... «Позвольте, сударь; вы мне мешаете», — сказал тот, нахмурившись. «Экой ты, братец!.. Да знаешь ли? Мы с твоим барином были друзья закадычные, жили вместе... Да где ж он сам остался?» Слуга объявил, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н\*\*\*. «Да не пойдет ли он вечером сюда? — сказал Максим Максимыч, — или ты, любезный, не пойдешь ли к не-

му за чем-нибудь?.. Коли пойдешь, так скажи, что здесь Максим Максимыч; так и скажи... уж он знает... Я дам тебе восьмигривенный на водку...» Лакей сделал презрительную мину, слыша такое скромное обещание, однако уверил Максима Максимыча, что исполнит его поручение. «Ведь сейчас прибежит!.. — сказал мне Максим Максимыч с торжествующим видом, — пойду за ворота его дожидаться... Эх, жалко, что я не знаком с Н\*\*\*!»

Итак, Максим Максимыч ждет за воротами. Он отказался от чашки чая и, наскоро выпив одну, по вторичному приглашению, опять выбежал за ворота. В нем заметно было живейшее беспокойство, и явно было, что его огорчало равнодушие Печорина. Новый его знакомый, отворив окно, звал его спать: он что-то пробормотал, а на вторичное приглашение ничего не ответил. Уже поздно ночью вошел он в комнату, бросил трубку на стол, стал ходить, ковырять в печи, наконец лег, но долго кашлял, плевал, ворочался... «Не клопы ли вас кусают?» — спросил его новый приятель. «Да, клопы...» — отвечал он, тяжело вздохнув.

На другой день утром сидел он за воротами. «Мне надо сходить к коменданту, — сказал он, — так пожалуйста, если Печорин придет, пришлите за мной». Но лишь ушел он, как предмет его беспокойства явился. С любопытством смотрел на него наш автор, и результатом его внимательного наблюдения был подробный портрет, к которому мы возвратимся, когда будем говорить о Печорине, а теперь займемся исключительно Максимом Максимычем. Надо сказать, что, когда Печорин пришел, лакей доложил ему, что сейчас будут закладывать лошадей. Здесь мы снова должны прибегнуть к длинной выписке.

Лошади были уже заложены; колокольчик по временам звенел под дугою, и лакей уже два раза подходил к Печорину с докладом, что все готово, а Максим Максимыч еще не являлся. К счастью, Печорин был погружен в задумчивость, глядя на синие зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. Я подошел к нему: «Если вы захотите еще немного подождать, — сказал я, — то будете иметь удовольствие увидеться с старым приятелем...»

— Ах, точно! — быстро отвечал он, — мне вчера говорили, — но где же он? — Я обернулся к площади и увидел Максима Максимыча, бегущего что было мочи... Через несколько минут он был уже возле нас; он едва мог дышать; пот градом катился с лица его; мокрые клочки седых волос вырвались из-под шапки, приклеились ко лбу его; колени его дрожали... он хотел кинуться на шею Печорину, но тот довольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку. Штабс-капитан на минуту остолбенел, но потом жадно схватил его руку обеими руками: он еще не мог говорить.

— Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете? — сказал Печорин.

— А ты?.. а вы? — пробормотал со слезами на глазах старик... — сколько лет... сколько дней... да куда это?..

— Еду в Персию — и дальше...

— Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас расстанемся?.. Сколько времени не виделись...

— Мне пора, Максим Максимыч, — был ответ.

— Боже мой, боже мой! да куда это так спешите? Мне столько бы хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну, что? в отставке?.. как?.. что поделявали?

— Скучал! — отвечал Печорин, улыбаясь...

— А помните наше житье-бытье в крепости?.. Славная страна для охотников!.. Ведь вы были страстный охотник стрелять... А Бэла!..

Печорин чуть-чуть побледнел и отвернулся...

— Да, помню! — сказал он, почти тотчас принужденно зевнув...

Максим Максимыч стал его упрашивать остаться с ним еще часа два. «Мы славно пообедаем, — говорил он, — у меня есть два фазана; а кахетинское здесь прекрасное... разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта... Мы поговорим... вы мне расскажете про свое житье в Петербурге... А?..»

— Право, мне нечего рассказывать, дорогой Максим Максимыч. Однако прощайте, мне пора... я спешу... Благодарю, что не забыли... — прибавил он, взяв его за руку.

Старик нахмурил брови... Он был печален и сердит, хотя старался скрыть это. «Забыть! — проворчал он, — я-то не забыл ничего. Ну, да бог с вами!.. Не так я думал с вами встретиться...»

— Ну, полно, полно! — сказал Печорин, обняв его дружески, — неужели я не тот же?.. что делать?.. Всякому своя дорога... Удастся ли еще встретиться — бог знает!.. — Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать вожжи.

— Постой, постой! — закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски, — совсем было забыл... У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрович... я их таскаю с собой... думал найти вас в Грузии, а вот где бог дал свидеться... что мне с ними делать?..

— Что хотите! — отвечал Печорин. — Прощайте...

— Так вы в Персию?.. а когда вернетесь? — кричал вслед Максим Максимыч.

Коляска была уже далеко; но Печорин сделал знак рукой, который можно было перевести следующим образом: вряд ли! да и незачем!..

Давно уже не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге, а бедный старик еще стоял на том же месте в глубокой задумчивости...

Довольно! не будем выписывать длинного и бес-  
связного монолога, который проговорил огорченный старик, стараясь принять равнодушный вид, хотя слеза досады по временам и сверкала на его ресницах. Довольно: Максим Максимыч и так уже весь перед вами... Если бы вы нашли его, познакомились с ним, двадцать лет прожили с ним в одной крепости, и тогда бы не узнали его лучше. Но мы больше уже не увидимся с ним, а он так интересен, так прекрасен, что грустно так скоро расстаться с ним, и потому взглянем на него еще раз, уже последний...

— Максим Максимыч, — сказал я, подошедши к нему, — а что это за бумаги оставил вам Печорин?

— А бог его знает! какие-то записки...

— Что вы из них сделаете?

— Что? я велю наделать патронов.

— Отдайте их лучше мне.

Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане; вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю; потом другая, третья и десятая имели ту же участь: в его досаде было что-то детское; мне стало смешно и жалко.

— Вот они все, — сказал он, — поздравляю вас с находкою...

— И я могу делать с ними все, что хочу?

— Хотя в газетах печатайте. Какое мне дело?..  
Что, я разве друг его какой или родственник?.. Правда, мы жили долго под одной кровлей... Да мало ли с кем я не жил?..

Схватя и унеся поскорее бумаги из опасения, чтобы Максим Максимыч не раскаялся, наш автор собрался в дорогу; он уже надел шапку, как штабс-капитан вошел... Но нет, воля ваша! а уж надо проститься с Максимом Максимычем как следует, то есть не прежде, как выслушав его последнее слово... Что делать? есть такие люди, с которыми, раз познакомившись, век бы не расстался...

— А вы, Максим Максимыч, разве не едете?

— Нет-с.

— А что так?

— Да я еще коменданта не видал, а мне надо сдать кой-какие казенные вещи...

— Да ведь вы же были у него.

— Был, конечно, — сказал он, заминаясь, — да его дома не было... а я не дождался...

Я понял его: бедный старик, в первый раз отроду, может быть, бросил дела службы для *собственной надобности*, говоря языком бумажным, — и как же он был награжден!

— Очень жаль, — сказал я ему, — очень жаль, Максим Максимыч, что нам до срока надо расстаться.

— Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться!.. Вы молодежь светская, гордая: еще покамест под черкесскими пулями, так вы туда-сюда... а после встретитесь, так стыдитесь и руку протянуть нашему брату.



— Я не заслужил этих упреков, Максим Максимыч.

— Да я, знаете, так, к слову говорю; а впрочем, желаю вам всякого счастья и веселой дороги.

Засим они довольно сухо расстались; но вы, любезный читатель, верно, не сухо расстались с этим старым младенцем, столь добрым, столь милым, столь *человечным* и столь неопытным во всем, что выходило за тесный кругозор его понятий и опытности? Не правда ли, вы так свыклись с ним, так полюбили его, что никогда уже не забудете его, а если встретите — под грубою наружностью, под корою зачерствелости от трудной и скудной жизни — горячее сердце, под простою, *мещанскою* речью — теплоту души, то, верно, скажете: «Это Максим Максимыч»?.. И дай бог вам поболее встретить, на пути вашей жизни, *Максимов Максимычей!*..

И вот мы рассмотрели две части романа — «Бэлу» и «Максима Максимыча»: каждая из них имеет свою особенность и замкнутость, почему каждая и оставляет в душе читателя такое полное, целостное и глубокое впечатление. Героев той и другой повести мы видели в торжественнейших положениях их жизни и коротко их знаем. Первая — повесть; вторая — эскиз характера, и каждая равно полна и удовлетворительна, ибо в каждой поэт умел исчерпать все ее содержание и в типических чертах вывести вовне все внутреннее, крывшееся в ней как возможность. Что нам за нужда, что во второй нет романического содержания, что она представляет собою не жизнь, а отрывок из жизни человека? Но если в этом отрывке — весь человек, то чего же больше. Поэт хотел изобразить характер

и превосходно успел в этом: его *Максим Максимыч* может употребляться не как собственное, но как нарицательное имя, наравне с *Онегинными*, *Ленскими*, *Зарецкими*, *Иванами Ивановичами*, *Никифорами Ивановичами*, *Афанасиями Ивановичами*, *Чацки ми*, *Фамусовыми* и пр. Мы познакомились с ним еще в «Бэле» и больше уже не увидимся. Но в обеих этих повестях мы видели еще одно лицо, с которым, однако ж, незнакомы. Это таинственное лицо не есть герой этих повестей, но без него не было бы этих повестей: он герой романа, которого эти две повести только части. Теперь пора нам с ним познакомиться, и уже не через посредство других лиц, как прежде: все они его не понимают, как мы уже видели; равным образом, и не через поэта, который хоть и один виноват в нем, но умывает в нем руки, а через его же самого: мы готовимся читать его записки. Поэт написал от себя предисловие только к запискам Печорина. Это предисловие составляет род главы романа, как его существеннейшая часть, но, несмотря на то, мы возвратимся к нему после, когда будем говорить о характере Печорина, а теперь прямо приступим к «запискам».

Первое отделение их называется «Тамань» и, подобно первым двум, есть отдельная повесть. Хотя оно и представляет собою эпизод из жизни героя романа, но герой по-прежнему остается для нас лицом таинственным. Содержание этого эпизода следующее: Печорин в Тамани остановился в скверной хате, на берегу моря, в которой он нашел только слепого мальчика лет 14-ти и потом таинственную девушку. Случай открывает ему, что эти люди — контрабандисты. Он ухаживает за девушкою и в шутку грозит ей, что донесет на них. Вечером в тот же день она приходит к нему, как сирена, обольщает его предложением своей любви

и назначает ему ночное свидание на морском берегу. Разумеется, он является, но как странность и какая-то таинственность во всех словах и поступках девушки давно уже возбудили в нем подозрение, то он и запасся пистолетом. Таинственная девушка пригласила его сесть в лодку — он было поколебался, но отступить было уже не время. Лодка помчалась, а девушка обвилась вокруг его шеи, и что-то тяжелое упало в воду... Он хватъ за пистолет, но его уже не было... Тогда завязалась между ними страшная борьба: наконец мужчина победил; посредством осколка весла он добрался кое-как до берега и, при лунном свете, увидел таинственную ундину, которая, спасшись от смерти, отряхалась. Через несколько времени она удалилась с Янко, как видно, своим любовником и одним из главных действующих контрабанды: так как поосторонний узнал их тайну, им опасно было оставаться более в этом месте. Слепой тоже пропал, украв у Печорина шкатулку, шашку с серебряной оправой и дагестанский кинжал.

Мы не решились делать выписок из этой повести, потому что она решительно не допускает их: это словно какое-то лирическое стихотворение, вся прелесть которого уничтожается одним выпущенным или измененным не рукою самого поэта стихом; она вся в форме; если выписывать, то должно бы ее выписать всю от слова до слова; пересказывание ее содержания даст о ней такое же понятие, как рассказ хотя бы и восторженный, о красоте женщины, которой вы сами не видели. Повесть эта отличается каким-то особенным колоритом: несмотря на прозаическую действительность ее содержания, все в ней таинственно, лица — какие-то фантастические тени, мелькающие в вечернем сумраке, при свете зари

или месяца. Особенно очаровательна девушка, это какая-то дикая, сверкающая красота, обольстительная, как сирена, неуловимая, как ундины, страшная, как русалка, быстрая, как прелестная тень или волна, гибкая, как тростник. Ее нельзя любить, нельзя и ненавидеть, но ее можно только и любить и ненавидеть вместе. Как чудно хороша она, когда, на крыше своей кровли, с распущенными волосами, защитив глаза ладонью, пристально всматривается вдаль, и то смеется и рассуждает сама с собою, то запекает эту полную раздолья и отваги удалую песню:

Как по вольной волюшке,  
По зелено морю,  
Ходят все кораблики  
Белопарусники.  
Промеж тех корабликов  
Моя лодочка,  
Лодка неснащенная,  
Двухвесельная.  
Буря ль разыграется —  
Старые кораблики  
Приподымут крылышки,  
По морю размечутся.  
Стану морю кланяться  
Я низехонько:  
«Уж не тронь ты, злое море,  
Мою лодочку:  
Везет моя лодочка  
Вещи драгоценные,  
Правит ею в темну ночь  
Буйная головушка».

Что касается до героя романа — он и тут является тем же таинственным лицом, как и в первых повестях. Вы видите человека с сильною волею, от-

важного, не бледнеющего никакой опасности, напрашивающегося на бури и тревоги, чтобы занять себя чем-нибудь и наполнить бездонную пустоту своего духа, хотя бы и деятельностью без всякой цели.

Наконец, вот и «Княжна Мери». Предисловие нами прочитано, теперь начинается для нас роман. Эта повесть разнообразнее и богаче всех других своим содержанием, но зато далеко уступает им в художественности формы. Характеры ее или очерки, или силуэты, и только разве один — портрет. Но что составляет ее недостаток, то же самое есть и ее достоинство, и наоборот. Подробное рассмотрение ее объяснит нашу мысль.

Начинаем с *седьмой* страницы. Печорин в Пятигорске, у Елисаветинского источника, сходится с своим знакомым — юнкером Грушницким. По художественному выполнению, это лицо стоит Максима Максимыча: подобно ему, это тип, представитель целого разряда людей, имя нарицательное. Грушницкий — *идеальный молодой человек*, который щеголяет своею идеальностью, как записные франты щеголяют модным платьем, а «львы» ослиною глупостью. Он носит солдатскую шинель из толстого сукна; у него георгиевский солдатский крестик. Ему очень хочется, чтобы его считали не юнкером, а разжалованным из офицеров; он находит это очень эффектным и интересным. Вообще, «производить эффект» — его страсть. Он говорит вычурными фразами. Словом, это один из тех людей, которые особенно пленяют чувствительных, романических и романтических провинциальных *барышень*, один из тех людей, которых, по прекрасному выражению автора записок, «не трогает *просто прекрасное* и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страда-

ния». — «В их душе, — прибавляет он, — часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии». Но вот самая лучшая и полная характеристика таких людей, сделанная автором же журнала: «Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами, — иногда тем и другим». Мы к этому очерку прибавим от себя только то, что они страх как любят сочинения Марлинского, и чуть зайдет речь о предметах сколько-нибудь не житейских, стараются говорить фразами из его повестей. Теперь вы вполне знакомы с Грушницким. Он очень недолюбливает Печорина за то, что тот его понял. Печорин тоже не любит Грушницкого и чувствует, что когда-нибудь они столкнутся, и одному из них несдобровать.

Они встретились как знакомые, и у них начался разговор. Грушницкий напал на общество, съехавшееся в этот год на воды. «Нынешний год, — говорил он, — из Москвы только одна княгиня Лиговская с дочерью; но я с ними незнаком; моя солдатская шинель, как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, — тяжело, как милостыня». В это время прошли мимо их к колодцу две дамы, и Грушницкий сказал, что то княгиня Лиговская с дочерью Мери. Он с ними незнаком, потому что «этой гордой знати нет дела, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстою шинелью!» Звонкою фразою, громко сказанною по-французски, он обратил на себя внимание княжны. Печорин сказал ему: «Эта княжна Мери прехорошенькая. У нее такие бархатные глаза, — именно бархатные; я тебе советую присвоить это выражение, говоря о ее глазах; — нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза — без блеска: они так мягки, они будто бы тебя глядят... Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хороше-

го... А что, у нее зубы белы? Это очень важно! жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу!» — «Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади», — сказал Грушницкий с негодованием. Они разошлись.

Возвращаясь мимо того места, Печорин, невидимый, был свидетелем следующей сцены. Грушницкий был ранен, или хотел казаться раненым, и потому хромал на одну ногу. Уронив стакан на песок, он напрасно усиливался поднять его. Легче птички подлетела к нему княжна и, подняв стакан, подала ему его с телодвижением, исполненным невыразимой прелести. Из этого выходит целый ряд смешных сцен, худо кончившихся для Грушницкого. Он идеальничает — Печорин над ним тешится. Он хочет ему показать, что в поступке княжны не видит для Грушницкого никакой причины к восторгу или даже просто к удовольствию. Печорин приписывает это своей страсти к противоречию, говоря, что присутствие энтузиаста обдаёт его крещенским холодом, а частые сношения с флегматиком могут сделать его страстным мечтателем. Напрасное обвинение! Такое чувство противоречия понятно во всяком человеке с глубокою душою. Детская, а тем более фальшивая идеальность оскорбляет чувство до того, что приятно уверить себя на ту минуту, что совсем не имеешь чувства. В самом деле, лучше быть совсем без чувства, нежели с *таким* чувством. Напротив, совершенное отсутствие жизни в человеке возбуждает в нас невольное желание увериться в собственных глазах, что мы не похожи на него, что в нас много жизни, и сообщает нам какую-то восторженность. Указываем на эту черту ложного самообвинения в характере Печорина, как на доказательство его противоречия

с самим собою вследствие непонимания самого себя, причины которого мы объясним ниже.

Теперь выходит на сцену новое лицо — медик Вернер. В беллетристическом смысле это лицо превосходно, но в художественном довольно бледно. Мы больше видим, что хотел сделать из него поэт, нежели что он сделал из него в самом деле.

Жалеем, что пределы статьи не позволяют нам выписать разговора Печорина с Вернером: это образец грациозной шутливости и, вместе, полного мысли остроумия (стр. 28—37). Вернер сообщает ему сведения о приехавших на воды, а главное — о Лиговских. «Что вам сказала княгиня Лиговская обо мне?» — спросил Печорин. «Вы очень уверены, что это княгиня... а не княжна?» — «Совершенно убежден». — «Почему?» — «Потому что княжна спрашивала о Грушницком». — «У вас большой дар соображения», — отвечал Вернер. Затем он сообщил, что княжна почитает Грушницкого разжалованным в солдаты за дуэль. «Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении?» — «Разумеется». — «Завязка есть! — закричал Печорин в восторге, — об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтобы мне не было скучно». Далее, Вернер сообщил Печорину, что княгиня его знает, потому что встречала в Петербурге, где его история (какая — этого не объясняется в романе) надела-ла много шума. Говоря о ней, княгиня к светским сплетням приплетала свои, а дочка слушала со вниманием; — в ее воображении Печорин (по словам Вернера) сделался героем романа в новом вкусе. Вернер вызывается представить его княгине. Печорин отвечает, что героев не представляют и что они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную. В шутках его проглядывает намере-



ние. Мы скоро узнаем о нем: оно началось от нечего делать, а кончилось... но об этом после. Вернер сказал о княжне, что она любит рассуждать о чувствах, о страстях и пр. Потом, на вопрос Печорина, не видел ли он кого-нибудь у них, он говорит, что видел женщину — блондинку, с чахоточным видом лица, с черною родинкою на правой щеке. Приметы эти, видимо, взволновали Печорина, и он должен был признаться, что некогда любил эту женщину. Затем он просит Вернера не говорить ей о нем, а если она спросит — отнестись о нем дурно. «Пожалуй!» — отвечал Вернер, пожав плечами, и ушел.

Оставшись наедине, Печорин думает о предстоящей встрече, которая беспокоит его. Ясно, что его равнодушие и ирония — больше светская привычка, нежели черта характера. «Нет в мире человека (говорит он), над которым бы прошедшее приобретало такую власть, как надо мною. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки... Я глупо создан! ничего не забываю — ничего!»

Вечером он вышел на бульвар. Сошедшись с двумя знакомыми, он начал им рассказывать что-то смешное; они так громко хохотали, что любопытство переманило на его сторону некоторых из окружавших княжну. Он, как выражается сам, продолжал увлекать публику до захождения солнца. Княжна несколько раз проходила мимо его с матерью, — и ее взгляд, стараясь выразить равнодушие, выражал одну досаду. С этого времени у них началась открытая война: в глаза и за глаза язвили они друг друга насмешками, злыми намеками. Верх всегда был на стороне Печорина, ибо он вел войну с должным присутствием духа, без всякой запальчивости. Его равнодушие бесило княжну и, назло ей самой, толь-

ко делало его интереснее в ее глазах. Грушницкий следил за нею, как зверь, и лишь только Печорин предрек скорое знакомство его с Лиговскими, как он в самом деле нашел случай заговорить с княгиней и сказать какой-то комплимент княжне. Вследствие этого он начал докучать Печорину, почему он не познакомится с этим домом, лучшим на водах? Печорин уверяет идеального шута, что княжна его любит: Грушницкий конфузится, говорит: «Какой вздор!» и самодовольно улыбается. «Друг мой, Печорин, — говорит он, — я тебя не поздравляю; ты у нее на дурном замечании... А, право, жаль! потому что Мери очень мила!..» — «Да, она недурна! — сказал с важностию Печорин, — только берегись, Грушницкий!» — Тут он стал ему давать советы и делать предсказания с ученым видом знатока. Смысл их был тот, что княжна из тех женщин, которые любят, чтобы их забавляли; что если с Грушницким будет ей скучно две минуты сряду — он погиб; что, накокетничавшись с ним, она выйдет за какого-нибудь уroda, из покорности к маменьке, а после и станет уверять себя, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть Грушницкого, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой серой шинелью билось сердце страстное и благородное... Грушницкий ударил по стулу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате. «Я внутренно хохотал (слова Печорина) и даже раза два улыбнулся, но он, к счастью, этого не заметил. Явно, что он влюблен, потому что еще доверчивее прежнего; у него даже появилось серебряное кольцо с чернью, здешней работы... Я стал его рассматривать, и что же?.. Мелкими буквами имя *Мери* было вырезано на внутренней стороне, и рядом — число того дня,

когда она подняла знаменитый стакан. Я утаил свое открытие; я не хочу вынуждать у него признаний; я хочу, чтобы он сам выбрал меня в свои поверенные, — и тут-то я буду наслаждаться!»

На другой день, гуляя по виноградной аллее и думая о женщине с родинкой, он в гроте встретился с нею самою. Но здесь мы должны выпискою дать понятие о их отношениях.

— Вера! — вскрикнул я невольно.

Она вздрогнула и побледнела. «Я знала, что вы здесь», — сказала она. Я сел возле ее и взял ее за руку. Давно забытый трепет пробежал по моим жилам при звуке этого милого голоса; она посмотрела мне в глаза своими глубокими и спокойными глазами, — в них выражалась недоверчивость и что-то похожее на упрек.

— Мы давно не видались, — сказал я.

— Давно, и переменились оба во многом.

— Стало быть, уж ты меня не любишь?..

— Я замужем!.. — сказала она.

— Опять? Однако несколько лет тому назад эта причина также существовала, но между тем...

Она выдернула свою руку из моей, и щеки ее запылали.

— Может быть, ты любишь своего второго мужа?

Она не отвечала и отвернулась.

— Или он очень ревнив?

Молчание.

— Что ж? Он молод, хорош, особенно, верно, богат, и ты боишься... — Я взглянул на нее и испугался: ее лицо выражало глубокое отчаяние, на глазах сверкали слезы.

— Скажи мне, — наконец прошептала она, — тебе очень весело меня мучить? Я бы тебя должна не-

навидеть. С тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий... — Ее голос задрожал, она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою.

«Может быть, — подумал я, — ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда!..»

Я ее крепко обнял, и так мы остались долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуй; ее руки были холодны, как лед, голова горела. Тут между нами начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя запомнить: значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере.

Вера никак не хотела, чтобы Печорин познакомился с ее мужем; но так как он дальний родственник Лиговской и как потому Вера часто бывает у ней, то она и взяла с него слово познакомиться с княгиней.

Так как «Записки» Печорина есть его автобиография, то и невозможно дать полного понятия о нем, не прибегая к выпискам, а выписок нельзя делать, не переписавши большей части повести. Посему мы принуждены пропускать множество подробностей самых характеристических и следить только за развитием действия.

Однажды, гуляя верхом, в черкесском платье, между Пятигорском и Железноводском, Печорин спустился в овраг, закрытый кустарником, чтобы напоить коня. Вдруг он видит — приближается кавалькада: впереди ехал Грушницкий с княжной Мери. Он был довольно смешон в своей серой сол-

датской шинели, сверх которой у него надета была шашка и пара пистолетов. Причина такого вооружения та (говорит Печорин), что дамы на водах еще верят нападению черкесов.

— И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе? — говорила княжна.

— Что для меня Россия? — отвечал ее кавалер, — страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением, тогда как здесь, — здесь эта толстая шинель не помешала моему знакомству с вами...

— Напротив... — сказала княжна, покраснев. Лицо Грушницкого выражало удовольствие. Он продолжал: — Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро, под пулями дикарей, и если бы бог мне каждый год посылал один светлый женский взгляд, один подобный тому...

В это время они поравнялись со мной; я ударил плетью по лошади и выехал из-за куста...

— *Mon dieu, un circassien!*<sup>1</sup> — вскрикнула княжна в ужасе.

Чтоб ее совершенно разуверить, я отвечал по-французски, слегка наклонясь:

— *Ne craignez rien, madame, — je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier*<sup>2</sup>.

Княжна смутилась от этого ответа. Вечером того же дня Печорин встретился с Грушницким на бульваре.

---

<sup>1</sup> Боже мой, черкес!.. (фр.)

<sup>2</sup> Ничего не бойтесь, сударыня, я не опаснее вашего спутника (фр.).

«Откуда?» — «От княгини Лиговской, — сказал он очень важно. — Как Мери поет!» — «Знаешь ли что? — сказал я ему, — я пари держу, что она не знает, что ты юнкер; она думает, что ты разжалованный...»

— Быть может! Какое мне дело!.. — сказал он рассеянно.

— Нет, я только так это говорю...

— А знаешь ли, что ты нынче ужасно ее рассердил? Она нашла, что это неслыханная дерзость; я насилу мог ее уверить, что ты не мог иметь намерения ее оскорбить; она говорит, что у тебя наглый взгляд, что ты, верно, о себе самого высокого мнения.

— Она не ошибается... А ты не хочешь ли за нее вступиться?

— Мне жаль, что я не имею еще этого права...

«Ого! — подумал я, — у него, видно, есть уже надежда...»

— Впрочем, для тебя же хуже, — продолжал Грушницкий, — теперь тебе трудно познакомиться с ними, а жаль! это один из самых приятных домов, какие я только знаю...

Я внутренне улыбнулся. «Самый приятный дом для меня теперь мой», — сказал я, зевая, и встал, чтобы идти.

— Однако признайся, ты раскаиваешься?..

— Какой вздор! если я захочу, то завтра же вечером буду у княгини...

— Посмотрим...

— Даже, чтоб тебе сделать удовольствие, стану волочиться за княжной...

— Да, если она захочет говорить с тобою...

— Я подожду только той минуты, когда твой разговор ей наскучит. Прощай!..

— А я пойду шататься, я ни за что теперь не за-

сну... Послушай, пойдем лучше в ресторацию, там игра... Мне нужны нынче сильные ощущения.

— Желаю тебе проиграться. — Я пошел домой.

На бале, в ресторации, Печорин услышал, как одна толстая дама, толкнутая княжною, бранила ее за гордость и изъясляла желание, чтобы ее проучили, и как один услужливый драгунский капитан, кавалер толстой дамы, сказал ей, что «за этим дело не станет». Печорин попросил княжну на вальс, — и княжна едва могла подавить на устах своих улыбку торжества. Сделавши с нею несколько туров, он завел с нею разговор в тоне кающегося преступника. Хохот и шушуканье прервали этот разговор, — Печорин обернулся: в нескольких шагах от него стояла группа мужчин, и, среди их, драгунский капитан потирал от удовольствия руки. Вдруг выходит на середину пьяная фигура с усами и красной рожей, неверными шагами подходит к княжне и, заложив руки за спину, уставив на смущенную девушку мутно-серые глаза, говорит ей хриплым дискантом: «Пермете... ну, да что тут!.. просто ангажирую вас на мазурку...» Матери княжны не было вблизи; положение княжны было ужасно, она готова была упасть в обморок. Печорин подошел к пьяному господину и попросил его удалиться, говоря, что княжна дала уже ему слово танцевать с ним мазурку. Разумеется, следствием этой истории было формальное знакомство Печорина с Лиговскими. В продолжение мазурки Печорин говорил с княжною и нашел, что она очень мило шутила, что разговор ее был остер, без притязания на остроу, жив и свободен; ее замечания иногда глубоки. Запутанною фразою дал он ей заметить, что она давно ему нравится.

Она наклонила голову и слегка покраснела. «Вы странный человек!» — сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись.

— Я не хотел с вами познакомиться, — продолжал я, — потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно.

— Вы напрасно боялись! Все они прескучные...

— Все? Неужели все?

Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и наконец произнесла решительно: «Все!»

— Даже мой друг Грушницкий?

— А он ваш друг? — сказала она, показывая некоторое сомнение.

— Да.

— Он, конечно, не входит в разряд скучных...

— Но в разряд несчастных, — сказал я, смеясь.

— Конечно! А вам смешно? Я б желала, чтоб вы были на его месте...

— Что ж? Я был сам некогда юнкером, и, право, это самое лучшее время моей жизни!

— А разве он юнкер?.. — сказала она быстро, и потом прибавила: — а я думала...

— Что вы думали?..

— Ничего!.. Кто эта дама?

Этот разговор был программой той продолжительной интриги, в которой Печорин играл роль *соблазителя от нечего делать*; княжна, как птичка, билась в сетях, расставленных искусною рукою, а Грушницкий по-прежнему продолжал свою шутовскую роль. Чем скучнее и несноснее становился он для княжны, тем смелее становились его надежды.



Вера беспокоилась и страдала, замечая новые отношения Печорина к Мери; но при малейшем укорении или намеке должна была умолкнуть, покоряясь его обаятельной власти, которую он так тиранически употреблял над нею. Но что же Печорин? Неужели он полюбил княжну? — Нет. Стало быть, он хочет обольстить ее? — Нет. Может быть, жениться? — Нет. Вот что он сам говорит об этом:

Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я совсем не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? Вера меня любит больше, чем княжна Мери будет любить когда-нибудь; если б она мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностью предприятия... Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтобы иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить: «Мой друг, со мной было то же самое! и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно, и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез!»

Потом он продолжает, — и тут особенно раскрывается его характер:

А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту, и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-

нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречаю на своем пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиной страданий и радости, не имея на то никакого положительного права, не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость? Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло; первое страдание дает понятие об удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтобы он не захотел приложить ее к действительности; идеи — создания органические, сказал кто-то: их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара.

Так вот причины, за которые бедная Мери так дорого должна поплатиться!.. Какой страшный человек этот Печорин! Потому что его беспокойный дух

требует движения, деятельность ищет пищи, сердце жаждет интересов жизни, потому должна страдать бедная девушка! «Эгоист, злодей, изверг, безнравственный человек!» — хором закричат, может быть, строгие моралисты. Ваша правда, господа; но вы-то из чего хлопчете? За что сердитесь? Право, нам кажется, вы пришли не в свое место, сели за стол, за которым вам не поставлено прибора... Не подходите слишком близко к этому человеку, не нападайте на него с такою запальчиво храбростию: он на вас взглянет, улыбнется, и вы будете осуждены, и на смущенных лицах ваших все прочтут суд ваш. Вы предаете его анафеме не за пороки, — в вас их больше и в вас они чернее и позорнее, — но за ту смелую свободу, за ту желчную откровенность, с которою он говорит о них. Вы позволяете человеку делать все, что ему угодно, быть всем, чем он хочет, вы охотно прощаете ему и безумие, и низость, и разврат; но, как пошлину за право торговли, требуете от него *моральных сентенций* о том, как должен человек думать и действовать, и как он в самом-то деле и не думает и не действует... И зато ваше инквизиторское аутодафе готово для всякого, кто имеет благородную привычку смотреть действительности прямо в глаза, не опуская своих глаз, называть вещи настоящими их именами и показывать другим себя не в бальном костюме, не в мундире, а в халате, в своей комнате, в уединенной беседе с самим собою, в домашнем расчете с своею совестью... И вы правы: покажитесь перед людьми хоть раз в своем позорном неглиже, в своих засаленных ночных колпаках, в своих оборванных халатах, люди с отвращением отвернутся от вас, и общество извергнет вас из себя. Но этому человеку нечего бояться: в нем есть тайное сознание, что он не то, чем самому себе кажется и что он

есть только в настоящую минуту. Да, в этом человеке есть сила духа и могущество воли, которых в вас нет; в самых пороках его проблескивает что-то великое, как молния в черных тучах, и он прекрасен, полон поэзии даже и в те минуты, когда человеческое чувство восстает на него... Ему другое назначение, другой путь, чем вам. Его страсти — бури, очищающие сферу духа; его заблуждения, как ни страшны они, острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на долгую и здоровую жизнь. Это лихорадки и горячки, а не подагра, не ревматизм и геморрой, которыми вы, бедные, так бесплодно страдаете... Пусть он клеветет на вечные законы разума, поставляя высшее счастье в насыщенной гордости; пусть он клеветет на человеческую природу, видя в ней один эгоизм; пусть клеветет на самого себя, принимая моменты своего духа за его полное развитие и смешивая юность с возмужалостью, — пусть!.. Настанет торжественная минута, и противоречие разрешится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются в один гармонический аккорд!.. Даже и теперь он проговаривается и противоречит себе, уничтожая одну страницу все предыдущие: так глубока его натура, так врожденна ему разумность, так силен у него инстинкт истины! Послушайте, что говорит он тотчас после того места, которое, вероятно, так возмущает моралистов:

Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает ими целую жизнь любоваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. *Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы; полнота и глубина*

*чувств и мыслей не допускает бешеных порывов: душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно; она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается своей собственной жизнью, лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие божие.*

Но пока (прибавим мы от себя), пока человек не дошел до этого высшего состояния самопознания, — если ему назначено дойти до него, — он должен страдать от других и заставлять страдать других, восставать и падать, падать и восставать, от заблуждения переходить к заблуждению и от истины к истине. Все эти отступления суть необходимые маневры в сфере сознания: чтобы дойти до места, часто надо дать большой крюк, совершить длинный обход, ворочаться с дороги назад. Царство истины есть обетованная земля, и путь к ней — аравийская пустыня. Но, скажете вы, за что же другие должны гибнуть от таких страстей и ошибок? А разве мы сами не гибнем иногда как от собственных, так и от чужих? Кто вышел из горнила испытаний чист и светел, как золото, натура того — благородный металл; кто сгорел или не очистился, натура того — дерево или железо. И если многие благородные натуры погибают жертвами случайности, разрешение на этот вопрос дает религия. Для нас ясно и положительно одно: без бурь нет плодородия, и природа изнывает; без страстей и противоречий нет жизни, нет поэзии. Лишь бы только в этих страстях и противоречиях была разумность и человечность, и их результаты вели бы человека к его цели, — а суд принадлежит не нам: для каждого человека суд в его делах и их

следствиях! Мы должны требовать от искусства, чтобы оно показывало нам действительность, как она есть, ибо, какова бы она ни была, эта действительность, она больше скажет нам, больше научит нас, чем все выдумки и поучения моралистов...

Но — скажут, может быть, резонеры — зачем рисовать картины возмутительных страстей, вместо того чтобы пленять воображение изображением кротких чувствований природы и любви и трогать сердце и поучать ум? — Старая песня, господа, так же старая, как и «Выйду ль я на реченьку, посмотрю на быстрюю»!..<sup>1</sup> Литература восемнадцатого века была по преимуществу *моральною и рассуждающею*, в ней не было других повестей, как *contes moraux* и *contes philosophiques*<sup>2</sup>; однако же эти нравственные и философские книги никого не исправили, и век все-таки был по преимуществу *безнравственным и развратным*. И это противоречие очень понятно. Законы нравственности в натуре человека, в его чувстве, и потому они не противоречат его делам; а кто чувствует и поступает сообразно с своим чувством, тот мало говорит. Разум не сочиняет, не выдумывает законов нравственности, но только *сознает* их, принимая их от чувства как *данные*, как *факты*. И потому *чувство* и *разум* суть не противоречащие, не враждебные друг другу, но родственные, или, лучше сказать, тождественные элементы духа человеческого. Но когда человеку или отказано природою в нравственном чувстве, или оно испорчено дурным воспитанием, беспорядочною жизнью, — тогда его *рассудок* изобретает свои законы нравственно-

---

<sup>1</sup> Слова из «Песни» Ю. А. Нелединского-Мелецкого.

<sup>2</sup> повестей нравоучительных и повестей философских (*фр.*).

сти. Говорим: *рассудок*, а не *разум*, ибо разум есть сознавшее себя чувство, которое дает ему в себе предмет и содержание для мышления; а рассудок, лишенный действительного содержания, по необходимости прибегает к произвольным построениям. Вот происхождение *морали*, и вот причина противоречия между словами и поступками записных моралистов. Для них действительность ничего не значит: они не обращают никакого внимания на то, что есть, и не предчувствуют его необходимости; они хлопочут только о том, что и как должно быть. Это ложное философское начало породило и ложное искусство, еще задолго до XVIII века, искусство, которое изображало какую-то небывалую действительность, создавало каких-то небывалых людей. В самом деле, неужели место действия корнелевских и расиновских трагедий — земля, а не воздух, их действующие лица, — люди, а не марионетки? Принадлежат ли эти *цари*, *герои*, *наперсники* и *вестники* какому-нибудь веку, какой-нибудь стране? Говорил ли кто-нибудь от создания мира языком, похожим на их язык?.. Восемнадцатый век довел это рассудочное искусство до последних пределов нелепости: он только о том и хлопотал, чтобы искусство шло навыворот действительности, и сделал из нее *мечту*, которая и в некоторых добрых старичках нашего времени еще находит своих манчских витязей. Тогда думали быть поэтами, воспевая *Хлой*, *Филлид*, *Дорис* в *физмах* и *мушках* и *Меналков*, *Даметов*, *Титиров*, *Миконов*, *Миртилисов* и *Мелибеев* в *шитых кафтанах*; восхваляли мирную жизнь под соломленную кровлею, у светлого ручейка, *Ладона*, с милою подругою, невинною пастушкою, в то время как сами жили в раззолоченных палатах, гуляли в стриженных аллеях, вместо одной пастушки имели

по тысяче овец и для доставления себе *оных* благ готовы были на *всяческая*...

Наш век гнушается этим лицемерством. Он громко говорит о своих грехах, но не гордится ими; обнажает свои кровавые раны, а не прячет их под нищенскими лохмотьями притворства. Он понял, что сознание своей греховности есть первый шаг к спасению. Он знает, что действительное страдание лучше мнимой радости. Для него польза и нравственность только в одной истине, а истина — в сущем, то есть в том, что есть. Потому и искусство нашего века есть воспроизведение разумной действительности. Задача нашего искусства — не представить события в повести, романе или драме *сообразно с предположенною заранее целью*, но развить их *сообразно с законами разумной необходимости*. И в таком случае, каково бы ни было содержание поэтического произведения, — его впечатление на душу читателя будет благодатно, и, следовательно, нравственная цель достигнется сама собою. Нам скажут, что безнравственно представлять ненаказанным и торжествующим порок: мы против этого и не спорим. Но и в действительности порок торжествует только *внешним* образом: он в самом себе носит свое наказание и гордою улыбкою только подавляет внутреннее терзание. Так точно и новейшее искусство: оно показывает, что суд человека — в делах его; оно, как необходимость, допускает в себя диссонансы, производимые в гармонии нравственного духа, но для того, чтобы показать, как из диссонанса снова возникает гармония, — через то ли, что раззвучная струна снова настраивается или разрывается вследствие ее *своевольного* разлада. Это мировой закон жизни, а следовательно, и искусства. Вот другое дело, если поэт захочет в своем произведе-



нии доказать, что результаты добра и зла одинаковы для людей, — оно будет безнравственно, но тогда уже оно и не будет произведением искусства, — и как крайности сходятся, то оно, вместе с моральными произведениями, составит один общий разряд непоэтических произведений, писанных с определенной целью. Далее мы из самого разбираемого нами сочинения докажем, что оно не принадлежит ни к тем, ни к другим и в основании своем глубоко нравственно. Но пора нам обратиться к нему.

Пришел Грушницкий и бросился мне на шею — он произведен в офицеры. Мы выпили шампанского. Доктор Вернер вошел вслед за ним. «Я вас не поздравляю», — сказал он Грушницкому. — «Отчего?» — «Оттого что солдатская шинель к вам очень идет, и признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь на водах, не придает вам ничего интересного... Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общее правило».

— Толкуйте, толкуйте, доктор! Вы мне не помогаете радоваться. Он не знает, — прибавил Грушницкий мне на ухо, — сколько надежд придали мне эти эполеты... О, эполеты, эполеты! ваши звездочки, путеводительные звездочки... Нет! я теперь совершенно счастлив.

На отлогости Машука, в версте от Пятигорска, есть провал. В один день там назначено было гулянье и род бала под открытым небом. Печорин спросил Грушницкого, идет ли он к провалу, и тот отвечал, что ни за что в свете не явится перед княжною прежде, нежели будет готов его мундир, и просил его не предуведомлять ее о его производстве.

— Скажи мне, однако, как твои дела с нею?

Он смутился и задумался: ему хотелось похвастаться, солгать, — и было совестно, а вместе с этим было стыдно признаться в истине.

— Как ты думаешь, любит ли она тебя?..

— Любит ли? Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия!.. Как можно так скоро?.. Да если даже она и любит, то порядочная женщина этого не скажет...

— Хорошо! И, вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти?..

— Эх, братец! на все есть манера; многое не говорится, а отгадывается...

— Это правда... Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает, тогда как слова... Берегись, Грушницкий, она тебя надувает...

— Она?.. — отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улынувшись: — мне жаль тебя, Печорин!

Многочисленное общество отправилось вечером к провалу. Взбираясь на гору, Печорин подал руку княжне, и она не покидала ее в продолжение всей прогулки. Разговор их начался злословием. Желчь Печорина взволновалась — и, начавши шутя, он кончил искреннею злостью. Сперва это забавляло княжну, а потом испугало. Она сказала ему, что лучше желала бы попасться под нож убийцы, чем ему на язычок. Он на минуту задумался, а потом, приняв на себя глубоко тронутый вид, начал жаловаться на свою участь, которая, по его словам, так жалка с самого его детства:

Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромн — меня обвиняли в лу-

кавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли, — я стал злопамятен; я был угрюм — другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их — меня ставили ниже: я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине сердца: они там и умерли. Я говорил правду — мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние, — не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, — но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой; я сделался нравственным калекой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее отрезал и бросил, тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины; но вы теперь во мне разбудили воспоминание о ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет, особенно когда вспомню, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение: предупреждаю вас, что это меня не огорчит нисколько.

От души ли говорил это Печорин или притворялся? — Трудно решить определительно: кажется, что тут было и то и другое. Люди, которые вечно находятся в борьбе с внешним миром и с самим собою, всегда недовольны, всегда огорчены и желчны. Огорчение

есть постоянная форма их бытия, и что бы ни попало им на глаза, все служит им содержанием для этой формы. Мало того, что они хорошо помнят свои истинные страдания, — они еще неистощимы и в выдумывании небывалых. Вздумайте их утешать — они рассердятся; покажите им причины их горестей в настоящем их свете — они оскорбятся. Помогите им бранить самих себя, взведите на них небывалые обиды жизни, отыщите небывалые недостатки и пороки в их характере — вы польстите им и выиграете их расположение. Если вы попадете на человека недостаточно глубокого и сильного, — будьте осторожны: вы можете или оскорбить его самолюбие так, что возбудите к себе его ненависть, или убить в нем всякую уверенность в себя и возродить отчаяние, — и тогда вам предстоит горькая и мучительно скучная роль утешителя и поверенного одних и тех же жалоб. Если же это человек глубокий и сильный, — не бойтесь слишком далеко зайти в нападках на него и на жизнь: у него есть лазеечка из этой западни: «Я дурен, но ведь и все таковы». А вы знаете, что, по пословице, при людях и смерть не страшна, — и как бы вы ни представлялись себе дурны, но если и лучший из людей не лучше вас, — ваше самолюбие спасено. И вот почему такие люди так неистощимы в самообвинении: оно обращается им в привычку. Обманывая других, они прежде всего обманывают себя. Истинная или ложная причина их жалоб, — им все равно, и желчная горесть их равно искренна и непритворна. Мало того: начиная лгать с сознанием или начиная шутить, — они продолжают и оканчивают искренно. Они сами не знают, когда лгут и когда говорят правду, когда слова их — вопль души или когда они — фразы. Это делается у них вместе и болезнью души, и привычкою, и безумством, и кокетничаньем.

Во всей выходке Печорина вы замечаете, что у него страждет самолюбие. Отчего родилось у него отчаяние? — Видите ли: он узнал хорошо свет и пружины общества, стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых он так неутомимо добивался. Какое мелкое самолюбие! — восклицаете вы. Но не торопитесь вашим приговором: он клеветет на себя; поверьте мне, он и даром бы не взял того счастья, которому завидовал у этих *других* и которого добивался. Но княжне от этого было не легче: она все приняла за наличную монету. Печорин не ошибся, сказав, что в нем два человека: в то время как один так горько жаловался *ни на что*, другой наблюдал и за ним и за княжною, и вот что заметил за последнею:

В эту минуту я встретил ее глаза: в них бегали слезы; рука ее, опираясь на мою, дрожала, щеки пылали; ей было жаль меня! — Сострадание, чувство, которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была рассеянна, ни с кем не кокетничала, — а это великий признак!..

Бедная Мери! Как систематически, с какою рассчитанною точностию ведет ее злой дух по пути погибели! Подошедши к провалу, все дамы оставили своих кавалеров, но она не оставляла руки Печорина; остроты тамошних денди не смешили ее; крутизна обрыва, у которого она стояла, не пугала ее, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза. На возвратном пути она была рассеянна, грустна. «Любили ли вы?» — спросил ее Печорин; она пристально на него посмотрела, покачала головой и снова задумалась... Казалось, что-то хотелось сказать, но она

не знала, с чего начать; грудь ее волновалась. «Не правда ли, я была очень любезна сегодня?» — сказала она, при расставании, с принужденною улыбкою. Печорин, вместо ее, ответил самому себе: «Она недовольна собой, она себя обвиняет в холодности... о, это первое, главное торжество! Завтра она захочет вознаградить меня. Я все это уж знаю наизусть — вот что скучно!» — Бедная Мери!..

Между тем Вера мучилась ревностью и мучила ею Печорина. Она взяла с него слово уехать в Кисловодск и нанять себе квартиру возле того дома, верх которого она займет с мужем, а низ — княгиня Лиговская, которая собирается туда еще через неделю. Вечер того же дня Печорин провел у Лиговских и веселился, замечая успехи чувства в княжне. Вера все это видела и страдала. Чтобы утешить ее, он рассказал вслух историю своей любви с нею, разумеется, прикрыв все вымышленными именами. «Я, — говорит он, — так живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, восторги; я в таком выгодном свете выставил ее поступки, характер, что она поневоле должна была простить мне мое кокетство с княжною».

На другой день — бал в ресторации. За полчаса до бала к Печорину явился Грушницкий в полном сиянии армейского мундира. — «Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за *моею* княжною?» — сказал он довольно небрежно и не глядя на Печорина. «Где нам, дуракам, чай пить!» — отвечал тот. Затем Грушницкий попросил у него духов, несмотря на замечания Печорина, что от него и так несет розовою помадою; налил полстаклянки за галстук, в носовой платок и на рукава и заключил опасением, что ему придется начинать с княжною мазурку, тогда как он не знает почти ни одной фигуры. На вопрос Печорина: «А ты звал ее на мазурку?» — он отвечал,

что нет, и поспешил дожидаться ее у подъезда. Разумеется, на балу бедный Грушницкий разыграл, благодаря Печорину, очень смешную роль. Княжна очень рассеянно его слушала и отвечала насмешками на его трагикомические выходки. «Нет, — говорил он, — лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я был обязан вашим вниманием...» — «В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу», — отвечала княжна и, заметив подошедшего к ним Печорина, обратилась к нему с вопросом о его мнении об этом предмете. «Я с вами не согласен, — отвечал Печорин, — в мундире он еще моложавее». Этот злой намек на лета мальчика, который хотел бы, чтобы на его лице читали следы сильных страстей, взбесил Грушницкого: он топнул ногою и отошел. Все остальное время он преследовал княжну: танцевал или с нею, или *vis-à-vis*<sup>1</sup>, вздыхал и надоедал ей мольбами и упреками. После третьей кадрили она уж его ненавидела.

— Я этого не ожидал от тебя, — сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку.

— Чего?

— Ты с ней танцуешь мазурку? — спросил он торжественным голосом. — Она мне призналась...

— Ну так что ж? А разве это секрет?

— Разумеется... Я должен был этого ожидать от девчонки... от кокетки... Уж я отомщу!

— Пеняй на свою шинель или на свои эполеты, а зачем же обвинять ее? Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься?..

— Зачем же подавать надежды?

— Зачем же ты надеялся?

---

<sup>1</sup> визави, то есть лицом к лицу (*фр.*).

Печорин достиг своей цели: Грушницкий отошел от него с чем-то вроде угрозы. Это его радовало и забавило, но что же за радость бесить доброго, пустого малого и для этого играть обдуманную роль, действовать по обдуманному плану? Что это: следствие праздности ума или мелкости души? Вот что думал об этом он сам, собираясь на бал:

Я шел медленно; мне было грустно... Неужели, — думал я, — мое единственное назначение — разрушать чужие надежды? С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние! Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?.. Уж не назначен ли я ею в сочинители мещанских трагедий и семейных романов или в сотрудники постановщику повестей, например, для «Библиотеки для чтения»?.. Почему знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками?..

Мы нарочно выписали это место, как одну из самых характеристических черт двойственности Печорина. В самом деле, в нем два человека: первый действует, второй смотрит на действия первого и рассуждает о них, или, лучше сказать, осуждает их, потому что они действительно достойны осуждения. Причины этого раздвоения, этой ссоры с самим собою, очень глубоки, и в них же заключается противоречие между глубиной натуры и жалко-



стию действий одного и того же человека. Ниже мы коснемся этих причин, а пока заметим только, что Печорин, ошибочно действуя, еще ошибочнее судит себя. Он смотрит на себя, как на человека, вполне развившегося и определившегося: удивительно ли, что и его взгляд на человека вообще мрачен, желчен и ложен?.. Он как будто не знает, что есть эпоха в жизни человека, когда ему досадно, зачем дурак глуп, подлец — низок, зачем толпа пошла, зачем на сотню пустых людей едва встретишь одного порядочного человека... Он как будто не знает, что есть такие пылкие и сильные души, которые, в эту эпоху семейной жизни, находят неизъяснимое наслаждение в сознании своего превосходства, мстят посредственности за ее ничтожность, вмешиваются в ее расчеты и дела, чтобы мешать ей, разрушая их... Но еще более, он как будто бы не знает, что для них приходит другая эпоха жизни — результат первой, когда они или равнодушно на все смотрят, не сочувствуя добру, не оскорбляясь злом, или уверяются, что в жизни и зло необходимо, как и добро, что в армии общества человеческого рядовых всегда должно быть больше, чем офицеров, что глупость должна быть глупа, потому что она глупость, а подлость подла, потому что она подлость, и они оставляют их идти своею дорогою, если не видят от них зла или не видят возможности помешать ему, и повторяют про себя, то с радостною, то с грустною улыбкою: «И все то благо, все добро!..» Увы, как дорого достается уразумение самых простых истин!.. Печорин еще не знает этого, и именно потому, что думает, что все знает.

Позабавившись над Грушницким, он позабавился и над княжною, хотя и совсем другим образом.

Я два раза пожал ее руку... во второй раз она ее выдернула, не говоря ни слова.

— Я дурно буду спать эту ночь, — сказала она мне, когда мазурка кончилась.

— Этому виноват Грушницкий.

— О нет! — И лицо ее стало так задумчиво, так грустно, что я дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать ее руку.

Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я быстро прижал ее маленькую ручку к губам своим. Было темно, и никто не мог этого видеть.

Я возвратился в залу очень доволен собою.

С этого времени история круто поворотилась и из комической начала переходить в трагическую. До селе Печорин сеял — теперь настает время пожинать ему плоды посеянного. Мы думаем, что в этом и должна заключаться истинная нравственность поэтического произведения, а не в пошлых сентенциях.

Грушницкий наконец понял, что он одурачен, но вместо того, чтобы в самом себе увидеть причину своего позора, он увидел ее в Печорине. К нему пристал драгунский капитан и все другие, которых оскорбляло превосходство Печорина, — и против Печорина начала составляться враждебная партия; но он не испугался, а обрадовался этому, увидев новую пищу для своей праздной деятельности... «Очень рад; я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда на страже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерение, притворяться обманутым и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов — вот что я называю жизнью!» — «Ошибочное название!» — восклицаете вы, — и мы согласны с вами; но сила всегда

остается силою и всегда будет полна поэзии, всегда будет восхищать и удивлять вас, хотя бы она действовала и деревянным мечом, вместо булатного... Есть люди, в руках которых и простая палка опаснее, чем у иных шпага: Печорин из таких людей...

На другой день Вера уехала с мужем в Кисловодск. Печорин винит ее самое в причине ее жалоб на него: она отказывает ему в свидании наедине. «Авось, — говорит он, — ревность сделает то, чего не могли мои просьбы». Вечером он заходил к Лиговским и не видал княжны — она больна. Возвращаясь домой, он заметил, что ему чего-то недостает. «Я не видал ее! Она больна! Уж не влюбился ли я в самом деле?.. Какой вздор!..» — Видите ли: как увлекательна эта игра в увлечение, как легко, увлекая других, увлечься и самому!.. Как ни старается Печорин выставить себя холодным оболыстителем без всякой цели, но от нечего делать, однако для нас его холодность очень подозрительная. Конечно, это еще не любовь, но ведь трудно разбирать и различать свои ощущения: собственное сердце всякого есть самый извилистый, самый темный лабиринт...

На другой день он застал ее одну. Она была бледна и задумчива. «Вы на меня сердитесь?» Она заплакала и закрыла лицо руками. «Что с вами?» — «Вы меня не уважаете!..» — отвечала она. Он ей сказал что-то вроде извинения и тщеславной загадки насчет своего характера — и вышел; он, уходя, слышал, как она плакала. Бедная девушка! стрела так глубоко вошла в ее сердце, что дело не может кончиться хорошо... В тот же день Печорин узнал от Вернера, что ходят слухи, будто он женится на княжне...

Наконец, действие переносится в Кисловодск. Однажды многочисленная кавалькада отправилась посмотреть *Кольцо* — скалу, образующую ворота, вер-

стах в трех от Кисловодска. Когда, на возвратном пути, переезжали через *Подкумок*, у княжны закружилась голова, оттого что она смотрела в воду. — «Мне дурно!» — проговорила она слабым голосом. Печорин обвил рукою ее гибкий стан, щека ее почти касалась его щеки, от нее веяло пламенем... «Что вы со мною делаете? Боже мой!..» — говорила она; но он не обращал внимания на ее слова — и губы его коснулись ее щеки... Выехав на берег, все пустились рысью, княжна приостановила свою лошадь, и они опять поехали позади всех. После долгого молчания, умышленного со стороны Печорина, она наконец сказала голосом, в котором были слезы:

— Или вы меня презираете, или очень любите! Может быть, вы хотите посмеяться надо мною, возмутить мою душу и потом оставить... Это было бы так подло, так низко, что одно предположение... О нет! не правда ли, — прибавила она голосом нежной доверенности, — не правда ли, во мне нет ничего такого, что бы исключало уважение? Ваш дерзкий поступок... я должна, я должна вам его простить, потому что позволила... Отвечайте, говорите же; я хочу слышать ваш голос!..

В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся; к счастью, начинало смеркаться... Я ничего не отвечал.

— Вы молчите? — продолжала она, — вы, может быть, хотите, чтобы я первая сказала вам, что я вас люблю?

Я молчал.

— Хотите ли этого! — продолжала она, быстро обратясь ко мне... В решительности ее взора и голоса было что-то страшное...

— Зачем? — отвечал я, пожав плечами.

Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой, опасной дороге; это произошло так скоро, что я едва мог ее догнать, и то, когда уж она присоединилась к остальному обществу. До самого дома она говорила и смеялась поминутно; в ее движениях было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Все заметили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренне радовалась, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервический припадок: она проведет ночь без сна и будет плакать. *Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение: есть минуты, когда я понимаю Вампира!.. а еще слышу добрым малым и добиваюсь этого названия.*

Что такое вся эта сцена? Мы понимаем ее только как свидетельство, до какой степени ожесточения и безнравственности может довести человека вечное противоречие с самим собою, вечно неудовлетворяемая жажда истинной жизни, истинного блаженства; но последней черты ее мы решительно не понимаем... Она кажется нам преувеличением, умышленною клеветою на самого себя, чертою изысканною и натянутою; словом, нам кажется, что здесь Печорин впал в Грушницкого, хотя и более страшного, чем смешного... И, если мы не ошибаемся в своем заключении, это очень понятно: состояние противоречия с самим собою необходимо условливает большую или меньшую изысканность и натянутость в положениях...

Возвращаясь домой слободкою, Печорин услышал из одного дома нестройный говор и шумные крики. Он слез с коня и стал подслушивать. Говорили о нем. Драгунский капитан кричал, что его надо проучить, что эти петербургские слетки зазнаются, пока их не ударишь по носу; что Печорин думает, что он только один и жил в свете, оттого, что носит

всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги, и что он должен быть трус. Грушницкий подтвердил достоверность последнего предположения, выдуманное какое-то происшествие, в котором будто бы Печорин сыграл перед ним не слишком выгодную для своей чести роль. Почтенная компания поджигает Грушницкого — имя княжны упоминается. Впрочем, драгунский капитан хочет только позабавиться над Печориным, заставив его обнаружить свою трусость. Он предлагает Грушницкому вызвать его на дуэль, а себе предоставляет поставить их в шести шагах и в пистолеты не положить пуль.

Я с трепетом ждал ответа Грушницкого; холодная злость овладела мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. *Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею.* Но после некоторого молчания, он встал с своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно: «Хорошо, я согласен».

Поутру Печорин встретил княжну у колодца. Это свидание было страшною развязкою пустой и ничтожной драмы, которая предшествовала другой драме, не менее пустой и ничтожной в сущности, но еще с более страшною развязкою.

— Вы больны? — сказала она, пристально посмотрев на меня.

— Я не спал ночь.

— И я также... я вас обвиняла... может быть, напрасно? Но объяснитесь, я могу вам простить все...

— Все ли?

— Все... только говорите правду... только скорее. Видите ли, я много думала, стараясь объяснить,

оправдать ваше поведение: может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родных... это ничего: когда они узнают... (ее голос задрожал) я их упрошу. Или ваше собственное положение... но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю... О, отвечайте скорее, сжальтесь: вы меня не презираете, не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Княгиня шла впереди нас с мужем Веры и ничего не видала; но нас могли видеть гуляющие больные, самые любопытные сплетники из всех любопытных, и я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатия.

— Я вам скажу всю истину, — отвечал я княжне, — не буду оправдываться, ни объяснять своих поступков: *я вас не люблю*.

Ее губы слегка побледнели.

— Оставьте меня, — сказала она едва внятно.

Я пожал плечами, повернулся и ушел.

На этот раз Печорин снисходительнее к нам: он приподнял таинственное покрывало, которым облек свое сатанинское величие, и очень просто, хотя и прекрасною прозою, объяснил причину этой сцены, как бы желая оправдаться в ней. Он говорит, что как бы страстно ни любил он женщину, но как скоро она даст ему почувствовать, что он должен на ней жениться, — прости, любовь!.. Этот страх лишиться постылой и ни для чего не нужной ему свободы он приписывает предсказанию старушки, которая, когда еще он был ребенком, гадала про него его матери и предрекла ему *смерть от злой жены*... Нет, это все не то!.. Печорин не любил княжны: он оскорбил бы самого себя, если бы назвал любовью легонькое чувство, возбужденное его собственным кокетством и са-

моллюбим. Потом: брак есть действительность любви. Любить истинно может только вполне созревшая душа, и, в таком случае, любовь видит в браке свою высочайшую награду и при блеске венца не блекнет, а пышнее распускает свой ароматный цвет, как при лучах солнца... Всякое чувство действительно в отношении к самому себе, как выражение моментального состояния духа: и первая любовь едва проснувшейся для жизни души отрока имеет свою поэзию и свою истину; но, будучи действительна по своей сущности, она совершенно призрачна по своей форме и в сравнении с любовью возмужавшего человека есть то же, что первое бессвязное лепетание младенца в сравнении с разумною речью мужа. Это больше потребность любви, чем самая любовь, и потому она обращается на первый предмет, способный поразить юную фантазию истинным или мнимым сходством с ее идеалом, и так же скоро погасает, как и вспыхивает. Такая любовь может много раз повториться в жизни человека; она или ненавидит брак и отвергает его, как идеи, профанирующей ее идеальность, или представляет его высочайшим блаженством и стремится к нему только до тех пор, пока он не предстанет к ней с своим строго испытующим, недоверчиво суровым взором: тогда бедная любовь потупляет перед ним свои глаза, как ребенок, застигнутый в шалости строгим гувернером... Да, брак есть гибель такой любви, и вот почему так много бывает *несчастливых браков по любви*... Только действительное чувство не боится своего осуществления, не трепещет своей поверки; только действительность смело смотрит в глаза действительности, не потупляя своих глаз... И неужели Печорин, этот человек, столь глубокий и могучий, мог почтеть свое чувство к княжне действительным и удивиться, что ее намек о браке так же легко унич-



тожил его чувство, как вид лозы уничтожает резвость ребенка?.. Нет! из всего этого опять-таки видно только одно, что Печорин еще рано почел себя допившим до дна чашу жизни, тогда как он еще и не сдул порядочно ее шипящей пены... Повторяем: он еще не знает самого себя, и если не должно ему всегда верить, когда он оправдывает себя, то еще менее должно ему верить, когда он обвиняет себя или приписывает себе разные нечеловеческие свойства и пороки. Но винить ли его за это? — Вините, если в глазах ваших юноша виноват тем, что он молод, а старец тем, что он стар! Есть люди, в которых потребность жизни так сильна, что составляет их мучение до тех пор, пока не удовлетворится, — и есть люди, которые долго живут и умирают неудовлетворенные, ибо действительны только потребности, а удовлетворение всегда зависит от случая, который так же может сбыться, как и может не сбыться. И вот, когда такие люди бросаются всюду, ища удовлетворения, и не находят его, — их отчаяние порождает клеветы на вечные законы разумной действительности; но они правы перед самими собою в этих клеветах, хотя и неправы перед действительностью. Можно ли винить их за несчастье? Можно ли винить их и за то, что они с такою жадностью бросаются на все, что волнует душу призраками блаженства? Не все же родятся с этим апатическим благоразумием, источник которого — гнилая и мертвая натура...

В Кисловодск приехал фокусник. Разумеется, на водах нельзя презирать никаким родом развлечения, — и на первое представление все бросились. Сама княгиня Лиговская, несмотря на то, что дочь ее была больна, взяла билет. Печорин получил от Веры записку, которою она назначала ему свидание в 9 часов вечера, извещая его, что муж ее уехал в Пяти-

горск до утра следующего дня, а людям, как своим, так и Лиговских, она раздала билеты. Повертевшись на представлении и заметив в задних рядах лакеев и горничных Веры и княгини, Печорин отправился на свидание. На дворе было темно. Вдруг Печорину показалось, что кто-то идет за ним. Из предосторожности, он обошел вокруг дома, будто гуляя. Проходя мимо окон княжны, он снова услышал за собою шаги, — и человек, завернутый в шинель, пробежал мимо его. Печорин бросился на темную лестницу — дверь отворилась, и маленькая ручка схватила его руку...

Около двух часов пополудни Печорин спустился из окна, с верхнего балкона на нижний, посредством двух связанных шалей. У княжны горел огонь, и *что-то* толкнуло Печорина к окну. Благодаря не совсем задернутому занавесу вот что увидел он:

Мери сидела на своей постели, скрестив на коленях руки; ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами; большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики, и маленькая ножка пряталась в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь; перед нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко...

Как много говорят эти немногие и простые строки! Какую длинную и мучительную повесть оскорбленного женского достоинства, оскорбленной женской любви, затаенных страданий и холодно-жгучего отчаяния рассказывают они!.. Бедная Мери!..

В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом; Печорин спрыгнул с балкона на землю, и невидимая рука схватила его за плечо. «А-га! — сказал грубый голос, — попался!.. Будешь у меня к княжнам ходить ночью!..» — «Держи его крепче!» — закричал другой голос, — и Печорин узнал Грушницкого и драгунского капитана. Сильным ударом по головешиб он последнего и бросился в кусты. «Воры! караул!» — кричали преследователи; раздался ружейный выстрел, и дымящийся пыж упал почти к ногам Печорина. Через минуту он был уже у себя дома и лежал, раздетый, в своей постели. Едва человек его успел запереть на замок дверь, как драгунский капитан и Грушницкий начали стучаться, крича: «Печорин! вы спите? здесь вы?» — «Сплю», — отвечал он им сердито. «Вставайте! — воры... черкесы...» — «У меня насморк, боюсь простудиться».

Они ушли. Между тем сделалась тревога. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось, начали искать черкесов, и на другой день все были убеждены в ночном нападении черкесов.

На другой день утром Печорин встретился у колдца с мужем Веры, с которым и пошел в ресторану завтракать. Добрый старик рассказывал ему о страхах жены своей в прошлую ночь. «Надобно ж, чтоб это случилось именно тогда, как я в отсутствии!» — говорил он. Они уселись завтракать у двери, ведущей в угловую комнату, где находился человек десять молодежи, в числе которой был и Грушницкий. Итак, судьба снова доставила Печорину случай подслушать Грушницкого. Этот последний за тайну открывал обществу, что причиною ночной тревоги были не черкесы, а один человек, имя которого он должен утаить и который был у княжны. «Какова княжна? — заключил он, — а? Ну, уж

признаюсь, московские барышни! После этого чему же можно верить? Мы хотели его схватить; только он вырвался и, как заяц, бросился в кусты; тут я по нем выстрелил». Заметив, что ему никто не верил, он стал уверять честным словом в справедливости рассказанного им и наконец даже изъявил готовность назвать виновника истории.

— Скажи, скажи, кто ж он! — раздалось со всех сторон.

— Печорин, — отвечал Грушницкий.

В эту минуту он поднял глаза — я стоял в дверях против него; он ужасно покраснел. Я подошел к нему и сказал медленно и внятно:

— Мне очень жаль, что я вошел после того, как вы уже дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости.

Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться.

Печорин, разумеется, стал требовать от него, чтобы он отказался от своих слов. Грушницкий стоял перед ним, потупив глаза, в сильном волнении; но борьба совести с самолюбием была непродолжительна, тем более что драгунский капитан толкнул его локтем: не подымая глаз на Печорина, снова подтвердил он ему истину своего обвинения. Печорин отвел капитана и переговорил с ним. На крыльце ресторации муж Веры схватил его за руку с чувством, похожим на восторг, называл его благороднейшим человеком, а Грушницкого подлецом, и изъявлял свою радость, что у него нет дочерей... Бедный муж!..

Оттуда Печорин пошел к Вернеру, рассказал ему

все и попросил в свои секунданты. Через час Вернер пришел к нему, уже переговоривши с драгунским капитаном. «Против вас точно есть заговор», — сказал он ему. Пока Вернер снимал в передней калоши, он был свидетелем жаркого спора капитана с Грушницким, из которого понял, что Грушницкий не соглашался дурачить Печорина, но требовал, как обиженный, решительной дуэли. Переговоры Вернера с капитаном порешились на том, чтобы местом дуэли было глухое ущелье верстах в пяти от Кисловодска и чтобы стреляться на другой день, в четыре часа утра, в шести шагах, а убитого — на счет черкесов. Затем Вернер сообщил свое подозрение, что капитан намерен положить пулю только в пистолет Грушницкого, и спросил Печорина, должно ли им показать, что они догадались, на что последний решительно не согласился, говоря, что он и без того расстроит их планы.

Вечером к Печорину приходил лакей с приглашением от княгини, но он сказался больным. Всю ночь он не спал, в голове его пробегали мысли за мыслями. От угроз Грушницкому, которого он почитал верною жертвою своею, он перешел к мысли о непостоянстве счастья, которое доселе неизменно служило ему. «Что ж, — думал он, — умереть так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я — как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова... Прощайте!..»

Затем он обращается на всю жизнь свою, и ему невольно приходит в голову вопрос о цели его жизни. «Зачем я жил? Для какой цели я родился? А верно она существовала, и верно было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не угадал этого назначения, я

увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений — лучший цвет жизни!..»

Поучительна немая беседа с самим собою человека, который завтра готовится быть или убитым, или убийцею... Мысль невольно обращается на себя, и сквозь мглу предрассуждений и умышленных софизмов блеснит луч ужасной истины... Но решение принято, шаг сделан, и возврата нет: само общество, которое смотрит на кровавые сделки, как на безнравственность, само общество, противореча себе, запрещает этот возврат своим насмешливо-презрительным взглядом, своим недвижно остановившимся на жертве перстом... Кровавая развязка дела доставляет ему средства читать себе для других нравоучения, произнести ближнему приговор и надавать ему поздних советов; отступление лишает его занимательного анекдота, прекрасного случая к развлечению на чужой счет. Что ж тут делать? Разумеется, идти вперед, а чтобы вникание в себя и в сущность дела не лишило смелости, закрыть глаза на истину и обеими руками ухватиться за первый представившийся софизм, которого ложность самому очевидна... Печорин так и сделал; он решил, что не стоит труда жить, и он прав перед собою, или по крайней мере не виноват перед теми строгими судьями чужих поступков, которые сами не участвуют в жизни, но на живущих смотрят, как зрители на актеров, то аплодируя, то шикая...

Несмотря на тайное беспокойство, мучившее Печорина, он не только имел силы заставить себя взяться за роман Вальтера Скотта «Шотландские пуритане», но еще и увлечься волшебным вымыслом.

Когда рассвело, он посмотрелся в зеркало: туск-

лая бледность покрывала лицо его, хранившее следы мучительной бессонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тенью, блистали гордо и неумолимо. «Я, — говорит он, — остался доволен собою». Купанье в нарзане сделало его совершенно свежим и бодрым.

Возвратясь с купанья, он нашел у себя Вернера. Они сели на лошадей и поехали. Тут следует мимоходом краткое, полное поэзии описание прекрасного кавказского утра.

«Я помню, — говорит Печорин, — в этот раз больше, чем когда-нибудь прежде, я любил природу; как любопытно я всматривался в каждую росинку, трепещущую на широком листе виноградном и отражавшую мильоны радужных лучей! как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль! там путь все становился уже, утесы синее и страшнее, и наконец они, казалось, сходились непроницаемою стеною».

Они ехали молча.

— Написали ли вы свое завещание? — вдруг спросил Вернер.

— Нет.

— А если будете убиты?

— Наследники отыщутся сами.

— Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать последнее прощанье?..

Я покачал головой.

— Неужели нет женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память?..

— Хотите ли, доктор, — отвечал я ему, — чтоб я раскрыл вам мою душу?.. Видите ли: я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной и завещая другу клочок напмаженных или

ненапомаженных волос. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе; иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут или, хуже, взведут на мой счет бог знает какие небывлицы; женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтоб не возбудить в нем ревности к усопшему, — бог с ними! Из жизненной бури я вынес только несколько дней и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, может быть, чрез час простится с вами и миром навеки, а второй... второй?..

Это признание обнаруживает всего Печорина. В нем нет фраз, и каждое слово искренно. Бессознательно, но верно выговорил Печорин всего себя. Этот человек не пылкий юноша, который гоняется за впечатлениями и всего себя отдает первому из них, пока оно не изгладится и душа не запросит нового. Нет, он вполне пережил юношеский возраст, этот период романического взгляда на жизнь: он уже не мечтает умереть за свою возлюбленную, произнося ее имя и завещая другу локон волос, не принимает слова за дело, порыв чувства, хотя бы самого возвышенного и благородного, за действительное состояние души человека. Он много перечувствовал, много любил и по опыту знает, как непродолжительны все чувства, все привязанности; он много думал о жизни и по опыту знает, как ненадежны все заключения и выводы для тех, кто прямо и смело смотрит на истину, не тешит и не обманывает себя убежде-



ниями, которым уже сам не верит... Дух его созрел для новых чувств и новых дум, сердце требует новой привязанности: *действительность* — вот сущность и характер всего этого нового. Он готов для него; но судьба еще не дает ему новых опытов, и, презирая старые, он все-таки по ним же судит о жизни. Отсюда это безверие в действительность чувства и мысли, это охлаждение к жизни, в которой ему видится то оптический обман, то бессмысленное мелькание китайских теней. — Это переходное состояние духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет, и в котором человек есть только возможность чего-то действительного в будущем и совершенный призрак в настоящем. Тут-то возникает в нем то, что на простом языке называется и «хандрою», и «ипохондриею», и «мнительностию», и «сомнением», и другими словами, далеко не выражающими сущности явления, и что на языке философском называется *рефлексиею*. Мы не будем объяснять ни этимологического, ни философского значения этого слова, а скажем коротко, что в состоянии рефлексии человек распадается на два человека, из которых один живет, а другой наблюдает за ним и судит о нем. Тут нет полноты ни в каком чувстве, ни в какой мысли, ни в каком действии: как только зародится в человеке чувство, намерение, действие, тотчас какой-то скрытый в нем самый враг уже подсматривает зародыш, анализирует его, исследует, верна ли, истинна ли эта мысль, действительно ли чувство, законно ли намерение, и какая их цель, и к чему они ведут, — и благоуханный цвет чувства блекнет, не распустившись, мысль дробится в бесконечность, как солнечный луч в граненом хрустале; рука, подъятая для действия, как внезапно окаменевшая, останавливается на взмахе и не ударяет...

Так робкими всегда творит нас совесть;  
Так яркий в нас решимости румянец  
Под тению тускнеет размышленья,  
И замыслов отважные порывы,  
От сей препоны уклоняя бег свой,  
Имен деяний не стяжают... —

говорит Шекспиров Гамлет<sup>1</sup>, этот поэтический апофеоз<sup>2</sup> рефлексии. Ужасное состояние! Даже в объятиях любви, среди блаженнейшего упоения и полноты жизни, восстает этот враждебный внутренний голос, чтобы заставить человека думать и

...в такое время,  
Когда не думает никто<sup>3</sup>,

вырвав из его рук очаровательный образ, заменить его отвратительным скелетом...

Но это состояние сколько ужасно, столько же и необходимо. Это один из величайших моментов духа. Полнота жизни — в чувстве, но чувство не есть еще последняя ступень духа, дальше которой он не может развиваться. При одном чувстве, человек есть раб собственных ощущений, как животное есть раб собственного инстинкта. Достоинство бессмертного духа человеческого заключается в его разумности, а последний, высший акт разумности есть — мысль. В мысли — независимость и свобода человека от собственных страстей и темных ощущений. Когда человек поднимает в гневе руку на врага своего — он следует чувству, его одушевляющему; но только разумная мысль о своем человеческом достоинстве

---

<sup>1</sup> Перевод М. Вронченко.

<sup>2</sup> апофеоз.

<sup>3</sup> Белинский цитирует «Сцены из Фауста» А. С. Пушкина.

и о своем человеческом братстве со врагом может удержать порыв гнева и обезоружить поднятую для убийства руку. Но переход из непосредственности в разумное сознание необходимо совершается через рефлексию, более или менее болезненную, смотря по свойству индивидуума. Если человек чувствует хоть сколько-нибудь свое родство с человечеством и хоть сколько-нибудь сознает себя духом в духе, — он не может быть чужд рефлексии. Исключения остаются только или за натурами чисто практическими, или за людьми мелкими и ничтожными, которые чужды интересов духа и которых жизнь — апатическая дремота. И наш век есть по преимуществу век рефлексии, почему от нее не освобождены ни те мирные и счастливые натуры, которые с глубиной соединяют тихость и невозмущаемое спокойствие, ни самые практические натуры, если они не лишены глубины. Отсюда значение целой германской литературы: в основании почти каждого из ее произведений лежит нравственный, религиозный или философский вопрос. «Фауст» Гете есть поэтический апофеоз рефлексии нашего века. Естественно, что такое состояние человечества нашло свой отзыв и у нас; но оно отразилось в нашей жизни особенным образом, вследствие неопределенности, в которую поставлено наше общество насильственным выходом из своей непосредственности, через великую реформу Петра. Дивно художественная «Сцена Фауста» Пушкина представляет собою высокий образ рефлексии, как болезни многих индивидуумов нашего общества. Ее характер — апатическое охлаждение к благам жизни, вследствие невозможности предаваться им со всею полнотою. Отсюда: томительная бездейственность в действиях, отвращение ко всякому делу, отсутствие всяких интересов в душе, неопределенность

желаний и стремлений, безотчетная тоска, болезненная мечтательность при избытке внутренней жизни. Это противоречие превосходно выражено автором разбираемого нами романа в его чудно поэтической «Думе»<sup>1</sup>, исполненной благородного негодования, могучей жизни и поразительной верности идей. Чтобы убедиться в этом, достаточно припомнить из нее следующие четыре стиха, в которых сказано больше, чем в двенадцати томах иного «господина сочинителя»:

И ненавидим мы, и любим мы случайно,  
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,  
И царствует в душе какой-то холод тайный,  
Когда огонь кипит в крови!..

Печорин есть один из тех, к кому особенно должно относиться это энергическое воззвание благородного поэта, которого это самое и заставило назвать героя романа героем нашего времени. Отсюда происходит и недостаток определенности, недостаток художественной рельефности в изображении этого лица, но отсюда же выходит и его высочайший поэтический интерес для всех, кто принадлежит к *нашему времени* не по одному году и числу месяца, в которые родился, — и то сильное неотразимо грустное впечатление, которое он на них производит... Но мы еще возвратимся к этому предмету, когда кончим изложение содержания романа.

Подробности свидания противников на месте роковой разделки переданы автором с ужасающею истиною и поэзиею. Чтобы расстроить бесчестные намерения своих врагов, возбудив трусость в Грушницком, Печорин предложил ему стреляться на узенькой

---

<sup>1</sup> «Отечественные записки», 1839, № 1.

площадке отвесной скалы, сажень в тридцать вышины, и с острыми камнями внизу. «Каждый из нас (говорит он Грушницкому) станет на самом краю площадки; таким образом даже легкая рана будет смертельна: это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначали шесть шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги; пулю доктор вынет. И тогда можно будет очень, очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жребий, кому первому стрелять. Объясняю вам в заключение, что иначе я не буду драться...» Грушницкий был поставлен в затруднение — лицо его ежеминутно менялось. Теперь ему нельзя было отделаться легкой раной, нанесенной противнику или полученной им самим. С другой стороны, ему пришлось бы или выстрелить на воздух, или сделаться убийцею, или отказаться от своего подлого замысла. Капитан отвечал на вызов Печорина: «пожалуй!», и Грушницкий принужден был кивнуть головою в знак согласия. Однако он отвел капитана в сторону и стал говорить с ним с большим жаром. Печорин видел, как дрожали его посинелые губы, и слышал, как капитан, отвернувшись от него с презрением, отвечал ему довольно громко: «Ты дурак! ничего не понимаешь!»

Взошли на площадку, изображавшую почти треугольник. Условились, чтобы тот, которому первому достанется встретить выстрел, стал на углу площадки, спиною к пропасти; если же он не будет убит, противники должны были поменяться местами. Бросили жребий — Грушницкому досталось стрелять первому. Когда стали на места, Печорин сказал Грушницкому, что если он промахнется, то не должен надеяться промаха с его стороны. Грушницкий покраснел: мысль убить человека безоружного, ка-

залось, боролась в нем со стыдом признаться в подлом умысле. Доктор снова стал советовать Печорину обнаружить их умысел, и сам было хотел это сделать. «Ни за что на свете, доктор!.. — отвечал Печорин, удерживая его за руку, — вы все испортите, вы мне дали слово не мешать... Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убитым...» — «О! это другое!.. Только на меня на том свете не жалуйтесь...» — отвечал Вернер, посмотрев на него с удивлением.

Капитан зарядил пистолеты и подал один Грушницкому, шепнув ему что-то, а другой Печорину. Печорин выдался вперед, опершись рукою о колено, чтобы, в случае легкой раны, не полететь в бездну; Грушницкий, с бледным лицом, дрожащими коленями, стал наводить пистолет, метя в лоб; но тут совершилось то, что необходимо должно было совершиться, вследствие слабости характера Грушницкого, не способного ни к положительному добру, ни к положительному злу: пистолет опустился, и бледный как смерть, обратившись к своему секунданту, Грушницкий сказал глухим голосом: «Не могу!» — «Трус!» — отвечал капитан, — выстрел раздался — пуля легко оцарапала колено Печорина, который невольно сделал несколько шагов вперед, чтобы поскорее отделиться от края. — Какая верная черта человеческой природы, в которой ни порывы самолюбия, ни жизненная сила воли не могут заглушить инстинкта самосохранения!..

Теперь настала очередь Печорина. Капитан сыграл сцену прощания с Грушницким, едва удерживаясь от смеха. Можно себе представить, какие чувства волновали Печорина при виде соперника, который теперь с спокойною дерзостью смотрел на него и, кажется, удерживал улыбку, а за минуту хотел убить его, как собаку... Как бы для очистки своей

совести, он предложил ему попросить у него прощения, но, услышав гордый отказ, произнес следующие слова с расстановкою, громко и внятно, как произносят смертный приговор: «Доктор, эти господа, вероятно второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова, — и хорошенько!» Капитан старался казаться обиженным и утверждал, что это неправда; но Печорин заставил его замолчать, сказав, что если это так, то он и с ним будет стреляться на тех же условиях. Грушницкий подал решительный голос в пользу переряжения пистолета. «Дурак же ты, братец, — сказал капитан, плюнув и топнув ногою, — пошлый дурак!.. Уж положился на меня, так слушайся во всем... Поделом же тебе! околейвай себе, как муха!..» Печорин снова предложил Грушницкому — признаться в своей клевете, обещаясь этим и кончить дело и даже напомнив ему о их прежней дружбе. Здесь предстоял автору прекрасный случай изобразить трогательную сцену примирения врагов и обращения на путь истины заблудшего человека и тем премного утешить моралистов и любителей пряничных эффектов; но глубоко художнический инстинкт истины, бессознательно открывающий поэту самые сокровенные таинства человеческой природы, заставил его написать сцену совсем в другом роде, сцену, которая поражает своею ужасною, беспощадною истинностию и своею потрясающею эффектною, при высочайшей простоте и естественности... Лицо Грушницкого вспыхнуло, глаза засверкали. «Стреляйте! — отвечал он, — я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоем нет места...»

Да, это гениальная черта, смелый и мощный взмах художнической кисти!.. Не забудьте, что у Грушниц-

кого нет только характера, но что натура его не чужда была некоторых добрых сторон: он не способен был ни к действительному добру, ни к действительному злу; но торжественное, трагическое положение, в котором самолюбие его играло бы напропалую, необходимо должно было возбудить в нем мгновенный и смелый порыв страсти. Самолюбие уверило его в небывалой любви к княжне и в любви княжны к нему; самолюбие заставило его видеть в Печорине своего соперника и врага; самолюбие решило его на заговор против чести Печорина; самолюбие не допустило его послушаться голоса своей совести и увлечься своим добрым началом, чтобы признаться в заговоре; самолюбие заставило его выстрелить в безоружного человека; то же самое самолюбие и сосредоточило всю силу его души в такую решительную минуту и заставило предпочесть верную смерть верному спасению через признание. Этот человек — апотеоз мелочного самолюбия и слабости характера: отсюда все его поступки, — и, несмотря на кажущуюся силу его последнего поступка, он вышел прямо из слабости его характера. Самолюбие — великий рычаг в душе человека; оно родит чудеса! Бывают на свете люди, которые, не бледнея, как перед чашкою чая, стоят перед дулом своего противника и которые прячутся под фуры во время сражения...

Спускаясь по тропинке вниз, Печорин заметил между расселинами скал окровавленный труп Грушницкого — и невольно закрыл глаза. Возвращаясь в Кисловодск, он опустил поводья и дал волю коню. Солнце уже садилось, когда измученный, на измученной лошади приехал он домой. Там застал он две записки — одну от доктора, другую от Веры.

Доктор уведомлял его, что тело уже перевезено, но что благодаря их мерам, заранее взятым, подозре-



ний нет никаких, и что он может спать спокойно... если может...

Долго не решался он открыть вторую записку; тяжелое предчувствие мучило его — и оно не обмануло его.

Письмо Веры начинается прощанием навсегда. Муж рассказал ей о ссоре Печорина с Грушницким, — и это так поразило и взволновало ее, что она не помнила, что отвечала ему, и только догадывалась, что то было признание в своей тайной любви, потому что муж оскорбил ее ужасным словом и, вышед из комнаты, велел закладывать карету. Мысль о вечной разлуке увлекла ее к объяснению своих отношений к Печорину, — и вот примечательнейшее место письма:

Мы расстаемся навеки; однако ж ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого: моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтобы ты был лучше их, о нет! но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное; в твоём голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно; ничей взор не обещает столько блаженства; никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами, и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном.

Письмо заключается изъяснением сомнительной уверенности, что он не любит Мери и не женится на ней. «Послушай, ты должен мне принести эту жертву: я для тебя потеряла все на свете...»

Велев оседлать измученного коня, как безумный, помчался Печорин в Пятигорск. При возможности потерять Веру, она стала для него дороже всего на свете — жизни, чести, счастья! Натиск судьбы взволновал могучую натуру, изнемогавшую в спокойствии и мире, и возбудил ее дремавшее чувство... Здесь невольно приходят на ум эти стихи Пушкина:

О люди! все похожи вы  
На прародительницу Эву:  
Что вам дано, то не влечет;  
Вас беспрестанно змий зовет  
К себе, к таинственному древу:  
Запретный плод вам подавай,  
А без того вам рай не в рай<sup>1</sup>.

Стремглав скача и погоняя беспощадно, он стал замечать, что конь его тяжело дышит и спотыкается. Оставалось пять верст до Эссентуков, казачьей станицы, где бы мог он пересесть на другую лошадь. Еще бы только десять минут, но конь рухнулся и издох... Печорин хотел идти пешком, но, изнуренный тревогами дня и бессонницею, он упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал. Напряженная гордость, холодная твердость — плод сухого отчаяния, софизмы светской философии — все исчезло и умолкло; уже не стало человека, волнуемого страстями, потрясаемого борьбою внутренних противоречий, — перед вами бедное, бессильное дитя, слезами омывающее грехи свои, чуждое, на эту минуту, ложного стыда и не жалующееся ни на судьбу, ни на людей, ни на самого себя...

---

<sup>1</sup> «Евгений Онегин», гл. 8, строфа XXVII.

И долго лежал я неподвижно, и плакал горько, не стараясь удержать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие исчезли, как дым; душа обессилела, рассудок замолк; и если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся.

Когда ночная роса и горный ветер освежили его горящую голову, он рассудил, что горький прощальный поцелуй не много бы прибавил к его воспоминаниям, а разлука после него была бы тяжелее, — и возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился в постель и проспал мертвым сном до вечера.

Тут пришел к нему Вернер и известил его, что княжна Лиговская больна расслаблением нерв; что начальство догадывается об истинных причинах смерти Грушницкого и что ему должно взять свои меры. В самом деле, на другой день утром, он получил приказание от высшего начальства отправиться в крепость N, где судьба и свела его с Максимом Максимычем.

Перед отъездом он зашел к княгине Лиговской проститься. Она встретила его, как человека, наверное явившегося к ней, как к матери, с предложением насчет руки дочери. Тут следует превосходная комическая сцена, где княгиня, намекая Печорину, что ей известны его отношения к Мери, дает ему знать, что не будет противиться их соединению, и охотно прощает ему странность его поведения в отношении к ее дочери. Несколько раз прерывала она свой большой монолог пыхтением и вздохами, а наконец заплакала. Печорин попросил у нее позволения наедине переговорить с ее дочерью, на что княгиня принуждена была согласиться.

Прошло пять минут; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; как я ни искал в груди моей хоть искры любви к милой Мери, старания мои были напрасны.

Вот дверь отворилась, и вошла она. Боже! как переменялась с тех пор, как я не видал ее, — а давно ли?

Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочил, подал ей руку и довел ее до кресел.

Я стоял против нее. Мы долго молчали; ее большие глаза, наполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали в моих что-нибудь похожее на надежду; ее бледные губы напрасно старались улыбнуться; ее нежные руки, сложенные на коленях, были так хилы и прозрачны, что мне стало жаль ее.

— Княжна, — сказал я, — вы знаете, что я над вами смеялся!.. Вы должны презирать меня.

На ее щеках показался болезненный румянец.

Я продолжал: — Следственно, вы меня любить не можете.

Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукою, и мне показалось, что в них блеснули слезы.

— Боже мой! — произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо: еще минута, и я бы упал к ногам ее.

— Итак, вы сами видите, — сказал я сколько мог твердым голосом и с принужденной усмешкой, — вы сами видите, что я не могу на вас жениться. Если бы вы даже этого теперь хотели, то скоро бы раскаялись; мой разговор с вашей матушкой принудил меня объясниться с вами так откровенно и так грубо; я надеюсь, что она в заблуждении: вам легко ее разуберечь. Вы видите, я играю в ваших глазах самую жалкую и гадкую роль и даже в этом признаюсь; вот все, что я могу для вас сделать. Какое бы вы дурное

мнение обо мне ни имели, я ему покоряюсь... Видите ли, я перед вами низок... Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете?

Она обернулась ко мне бледная, как мрамор. Только глаза ее чудно сверкали.

— Я вас ненавижу... — сказала она.

Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел.

Нужно ли что-нибудь говорить об этой сцене, где бедная Мери является в таком бесконечно поэтическом апотеозе страдания от обманутого чувства и оскорбленного самолюбия и достоинства женщины и где каждое ее движение, каждый звук ее голоса запечатлены такую неотразимую прелестью и истиною, а положение так трогательно и возбуждает такое сильное и горестное участие?.. Нет, кому эта сцена не скажет всего, тому наши слова ничего не пояснят...

Через час скакал он на тройке курьерских из Кисловодска и на дороге увидел своего коня: седло было снято и, вместо его, два ворона сидели у него на спине... Он вздохнул и отвернулся...

И теперь, здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслью прошедшее, спрашиваю себя, отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?.. Нет, я бы не ужился с этою долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига: его душа слилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегających волн и всматривается в туманную даль:

не мелькнет ли там, на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани...

Такою лирическою выходкою, полною бесконечной поэзии и обнаруживающею всю глубину и мощь этого человека, замыкается журнал Печорина. Теперь это таинственное лицо, так сильно волновавшее наше любопытство и в истории Бэлы, и при свидании с Максимом Максимычем, и в рассказе о собственном приключении в Тамани, — теперь оно все перед нами, во весь рост свой. Чрез него самого познакомились мы со всеми событиями его жизни, и теперь уже сам он ничего нового не в состоянии сказать нам о самом себе. Но между тем, прочтя «Княжну Мери», мы все еще не расстались с ним, и еще раз встречаемся с ним, как с рассказчиком необыкновенного случая, которого он был свидетелем. Мы не будем ни подробно излагать содержания этого рассказа, ни делать из него выписок. В обществе офицеров зашел спор о восточном фатализме, и молодой офицер Вулич предложил пари против предопределения, схватил со стены первый попавшийся ему из множества висевших на стене пистолетов, насыпал на полку пороха, приставил пистолет ко лбу, спустил курок — осечка!.. Захотели узнать, точно ли пистолет был заряжен, выстрелили в фуражку, — когда дым рассеялся, все увидели, что фуражка была прострелена. Еще до выстрела Печорину в лице и голосе Вулича показалось что-то такое странное и таинственное, что он невольно убедился в близкой смерти этого человека и предрек ему смерть. В самом деле, выходя из общества,

Вулич был убит на улице станицы пьяным казаком... Да здравствует фатализм!.. Все, что мы пересказали в нескольких строках, составляет в романе порядочный отрывок с превосходно изложенными подробностями, увлекательный по рассказу. Особенно хорошо обрисован характер героя — так и видите его перед собою, тем более что он очень похож на Печорина. Сам Печорин является тут действующим лицом, и едва ли еще не более на первом плане, чем сам герой рассказа. Свойство его участия в ходе повести, равно как и его отчаянная, фаталическая смелость при взятии взбесившегося казака, если не прибавляют ничего нового к данным о его характере, то все-таки добавляют уже известное нам и тем самым усугубляют единство мрачного и терзающего душу впечатления целого романа, который есть биография одного лица. — Это усиление впечатления особенно заключается в основной идее рассказа, которая есть — фатализм, вера в предопределение, одно из самых мрачных заблуждений человеческого рассудка, которое лишает человека нравственной свободы, из слепого случая делая необходимость. Предрассудок — явно выходящий из положения Печорина, который не знает, чему верить, на чем опереться, и с особенным увлечением хватается за самые мрачные убеждения, лишь бы только давали они поэзию его отчаянию и оправдывали его в собственных глазах.

Что же за человек этот Печорин? — Здесь мы должны обратиться к «Предисловию», написанному автором романа к журналу Печорина.

Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я был еще его другом: коварная нескромность истин-

ного друга понятна каждому; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге; следовательно, не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под личиною дружбы, ожидает только смерти или несчастья любимого предмета, чтоб разразиться над его головою громом упреков, советов, насмешек и сожалений.

Несмотря на всю софистическую ложность этой горькой выходки, — самая ее желчность свидетельствует уже, что в ней есть своя истинная сторона. В самом деле, и дружба, подобно любви, есть роза с роскошным цветом, упоительным ароматом, но и с колючими шипами. Каждая индивидуальность как бы по природе своей враждебна другой и силится пересоздать ее по-своему, и в самом деле, когда сходятся две субъективности, они, так сказать, чрез взаимное трение друг о друга сглаживаются и изменяются, заимствуя одна от другой то, чего им недостает. Отсюда это взаимное цензорство в дружбе, эта страсть раздражаться над головою друга градом упреков, насмешек и сожалений. Самолюбие тут играет свою роль, но если дружба основана не на детской привязанности или какой-нибудь внешней связи, — истинная привязанность, внутреннее человеческое чувство всегда играет тут свою роль. Автор видит в дружбе одни шипы — и его ошибка не в ложности, а в односторонности взгляда. Он, видимо, находится в том состоянии духа, когда в нашем разумении всякая мысль распадается на свои же собственные моменты, до тех пор, пока дух наш не созреет для великого процесса разумного примирения противоположностей в одном и том же предмете. Вообще, хотя автор и выдает себя за человека, совершенно чуждого Печорину, но он сильно симпатизирует



с ним, и в их взгляде на вещи — удивительное сходство. Следующее место из «Предисловия» еще более подтверждает нашу мысль:

Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина. Мой ответ — в главие этой книги. — «Да это злая ирония!..» — скажут они. — Не знаю.

Итак — «Герой нашего времени» — вот основная мысль романа. В самом деле, после этого весь роман может почестся злою ирониею, потому что большая часть читателей наверное воскликнет: «Хорош же герой!» — А чем же он дурен? — смеем вас спросить.

Зачем же так неблагосклонно  
Вы отзываетесь о нем?  
За то ль, что мы неугомонно  
Хлопочем, судим обо всем,  
Что пылких дум неосторожность,  
Себялюбивую ничтожность  
Иль оскорбляет, иль смешит,  
Что ум, любя простор, теснит,  
Что слишком часто разговоры  
Принять мы рады за дела,  
Что глупость ветрена и зла,  
Что важным людям важны вздоры  
И что посредственность одна  
Нам по плечу и не странна?<sup>1</sup>

Вы говорите против него, что в нем нет веры. Прекрасно! Но ведь это то же самое, что обвинять нищего за то, что у него нет золота: он бы и рад иметь его,

---

<sup>1</sup> «Евгений Онегин», гл. 8, строфа IX.

да не дается оно ему. И притом, разве Печорин рад своему безверию? Разве он гордится им? Разве он не страдал от него? Разве он не готов ценою жизни и счастья купить эту веру, для которой еще не настал час его?.. Вы говорите, что он эгоист? — Но разве он не презирает и не ненавидит себя за это? Разве сердце его не жаждет любви чистой и бескорыстной?.. Нет, это не эгоизм: эгоизм не страдает, не обвиняет себя, но доволен собою, рад себе. Эгоизм не знает мучения: страдание есть удел одной любви. Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая от зноя пламенной жизни земля, пусть взрыхлит ее страдание и оросит благодатный дождь, — и она произрастит из себя пышные, роскошные цветы небесной любви... Этому человеку стало больно и грустно, что его все не любят, — и кто же эти «все»? — пустые, ничтожные люди, которые не могут простить ему его превосходства над ними. А его готовность задушить в себе ложный стыд, голос светской чести и оскорбленного самолюбия, когда он за признание в клевете готов был простить Грушницкому, человеку, сейчас только выстрелившему в него пулею и бесстыдно ожидавшему от него холостого выстрела? А его слезы и рыдания в пустынной степи, у тела издохшего коня? — Нет, все это не эгоизм! Но его — скажете вы — холодная расчетливость, систематическая рассчитанность, с которою он обольщает бедную девушку, не любя ее, и только для того, чтобы посмеяться над нею и чем-нибудь занять свою праздность? — Так, но мы и не думаем оправдывать его в таких поступках, ни выставлять его образцом и высоким идеалом чистейшей нравственности: мы только хотим сказать, что в человеке должно видеть человека и что идеалы нравственности существуют в одних классических трагедиях и морально-сенти-

ментальных романах прошлого века. Судя о человеке, должно брать в рассмотрение обстоятельства его развития и сферу жизни, в которую он поставлен судьбою. В идеях Печорина много ложного, в ощущениях его есть искажение; но все это выкупается его богатою натурою. Его во многих отношениях дурное настоящее — обещает прекрасное будущее. Вы восхищаетесь быстрым движением парохода, видите в нем великое торжество духа над природою? — и хотите потом отрицать в нем всякое достоинство, когда он сокрушает, как зерно жернов, неосторожных, попавших под его колеса: не значит ли это противоречить самим себе? Опасность от парохода есть результат его чрезмерной быстроты; следовательно, порок его выходит из его достоинства. Бывают люди, которые отвратительны при всей безукоризненности своего поведения, потому что она в них есть следствие безжизненности и слабости духа. Порок возмутителен и в великих людях; но, наказанный, он приводит в умиление вашу душу. Это наказание только тогда есть торжество нравственного духа, когда оно является не извне, но есть результат самого порока, отрицание собственной личности индивидуума в оправдание вечных законов оскорбленной нравственности. Автор разбираемого нами романа, описывая наружность Печорина, когда он с ним встретился на большой дороге, вот что говорит о его глазах: «Они не смеялись, когда он смеялся... Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей? Это признак — или злого нрава, или глубокой, постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепи-

тельный, но холодный; взгляд его — непродолжительный, но пронизательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен». — Согласитесь, что как эти глаза, так и вся сцена свидания Печорина с Максимом Максимычем показывают, что если это порок, то совсем не торжествующий, и надо быть рожденным для добра, чтоб так жестоко быть наказану за зло!.. Торжество нравственного духа гораздо поразительнее совершается над благородными натурами, чем над злодеями...

А между тем этот роман совсем не злая ирония, хотя и очень легко может быть принят за иронию; это один из тех романов,

В которых отразился век,  
И современный человек  
Изображен довольно верно  
С его безнравственной душой,  
Себялюбивой и сухой,  
Мечтанью преданной безмерно,  
С его озлобленным умом,  
Кипящим в действии пустом<sup>1</sup>.

«Хорош же современный человек!» — воскликнул один правоописательный «сочинитель»<sup>2</sup>, разбирая, или, лучше сказать, ругая седьмую главу «Евгения Онегина». Здесь мы почитаем кстати заметить, что всякий современный человек, в смысле представителя своего века, как бы он ни был дурен, не может быть дурен, потому что нет дурных веков, и ни

---

<sup>1</sup> «Евгений Онегин», гл. 7, строфа XXII.

<sup>2</sup> Булгарин.

дин век не хуже и не лучше другого, потому что он  
ть необходимый момент в развитии человечества  
ли общества.

Пушкин спрашивал самого себя о своем Онегине:

Чудак печальный и опасный,  
Созданье ада иль небес,  
Сей ангел, сей надменный бес,  
Что ж он? Ужели подражанье,  
Ничтожный призрак, иль еще  
Москвич в Гарольдовом плаще,  
Чужих причуд истолкованье,  
Слов модных полный лексикон,—  
Уж не пародия ли он?<sup>1</sup>

И этим самым вопросом он *разрешил загадку*  
*и нашел слово*. Онегин не *подражание*, а *отражение*,  
но сделавшееся не в фантазии поэта, а в современном  
обществе, которое он изображал в лице героя своего  
поэтического романа. Сближение с Европою должно  
было особенным образом отразиться в нашем обще-  
стве, — и Пушкин гениальным инстинктом велико-  
го художника уловил это отражение в лице Онегина.  
Но Онегин для нас уже прошедшее, и прошедшее не-  
возвратно. Если бы он явился в наше время, вы име-  
ли бы право спросить, вместе с поэтом:

Все тот же ль он, иль усмирился?  
Иль корчит так же чудака?  
Скажите, чем он возвратился?  
Что нам представит он пока?  
Чем ныне явится? — Мельмотом,  
Космополитом, патриотом,  
Гарольдом, квакером, ханжой

---

<sup>1</sup> «Евгений Онегин», гл. 7, строфа XXIV.

Иль маской щегольнет иной.  
Иль просто будет добрый малый,  
Как вы да я, как целый свет?<sup>1</sup>

*Печорин* Лермонтова есть лучший ответ на все эти вопросы. Это Онегин нашего времени, *герой нашего времени*. Несходство их между собою гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою. Иногда в самом имени, которое истинный поэт дает своему герою, есть разумная необходимость, хотя, может быть, и не видимая самим поэтом...

Со стороны художественного выполнения нечего и сравнивать Онегина с Печориным. Но как выше Онегин Печорина в художественном отношении, так и Печорин выше Онегина по идее. Впрочем, это преимущество принадлежит нашему времени, а не Лермонтову. Что такое Онегин? — Лучшею характеристикой и истолкованием этого лица может служить французский эпиграф к поэме: «Pétri de vanité, il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions suite d'un sentiment de supériorité, peut-être imaginaire»<sup>2</sup>. Мы думаем, что это превосходство в Онегине несколько не было воображаемым, потому что он «вчуже чувства уважал» и что в «его сердце была и гордость, и прямая честь». Он является в романе человеком, которого убили воспитание и светская жизнь, которому все

---

<sup>1</sup> «Евгений Онегин», гл. 8, строфа VIII.

<sup>2</sup> «Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием как в своих добрых, так и дурных поступках, — следствие чувства превосходства, быть может мнимого» (фр.).

пригляделось, все приелось, все прилюбилось и которого вся жизнь состояла в том,

Что он равно зевал  
Средь модных и старинных зал<sup>1</sup>.

Не таков Печорин. Этот человек не равнодушно, не апатически несет свое страдание: бешено гоняется он за жизнью, ища ее повсюду; горько обвиняет он себя в своих заблуждениях. В нем неумолчно раздаются внутренние вопросы, тревожат его, мучат, и он в рефлексии ищет их разрешения: подсматривает каждое движение своего сердца, рассматривает каждую мысль свою. Он сделал из себя самый любопытный предмет своих наблюдений и, стараясь быть как можно искреннее в своей исповеди, не только откровенно признается в своих истинных недостатках, но еще и выдумывает небывалые или ложно истолковывает самые естественные свои движения. Как в характеристике современного человека, сделанной Пушкиным, выражается весь Онегин, так Печорин весь в этих стихах Лермонтова:

И ненавидим мы, и любим мы случайно,  
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,  
И царствует в душе какой-то холод тайный,  
Когда огонь кипит в крови<sup>2</sup>.

«Герой нашего времени» — это грустная дума о нашем времени, как и та, которою так благородно, так энергически возобновил поэт свое поэтическое поприще и из которой мы взяли эти четыре стиха...

---

<sup>1</sup> «Евгений Онегин», гл. 2, строфа II.

<sup>2</sup> «Дума» М. Ю. Лермонтова.

Но со стороны формы изображение Печорина не совсем художественно. Однако причина этого не в недостатке таланта автора, а в том, что изображаемый им характер, как мы уже слегка и намекнули, так близко к нему, что он не в силах был отделиться от него и объективировать его. Мы убеждены, что никто не может видеть в словах наших желание выставить роман г. Лермонтова автобиографией. Субъективное изображение лица не есть автобиография: Шиллер не был разбойником, хотя в *Карле Moore* и выразил *свой идеал* человека. Прекрасно выразился Фарнгаген, сказав, что на Онегина и Ленского можно бы смотреть, как на братьев Вульта и Вальта у Жан-Поля Рихтера, то есть как на разложение самой природы поэта, и что он, может быть, воплотил двойство своего внутреннего существа в этих двух живых созданиях. Мысль верная, а между тем было бы очень нелепо искать сходных черт в жизни этих лиц с жизнью самого поэта.

Вот причина неопределенности Печорина и тех противоречий, которыми так часто опутывается изображение этого характера. Чтобы изобразить верно данный характер, надо совершенно отделиться от него, стать выше его, смотреть на него как на нечто оконченное. Но этого, повторяем, не видно в создании Печорина. Он скрывается от нас таким же неполным и неразгаданным существом, как и является нам в начале романа. Оттого и самый роман, поражая удивительным единством *ощущения*, нисколько не поражает единством *мысли* и оставляет нас без всякой перспективы, которая невольно возникает в фантазии читателя по прочтении художественного произведения и в которую невольно погружается очарованный взор его. В этом романе удивительная замкнутость создания, но не та высшая, художе-



ственная, которая сообщается созданию чрез единство поэтической идеи, а происходящая от единства поэтического ощущения, которым он так глубоко поражает душу читателя. В нем есть что-то неразгаданное, как бы недоговоренное, как в «Вертере» Гете, и потому есть что-то тяжелое в его впечатлении. Но этот недостаток есть в то же время и достоинство романа г. Лермонтова: таковы бывают все современные общественные вопросы, высказываемые в поэтических произведениях: это вопль страдания, но вопль, который облегчает страдание...

Это же единство ощущения, а не идеи, связывает и весь роман. В «Онегине» все части органически сочленены, ибо в избранной рамке романа своего Пушкин исчерпал всю свою идею, и потому в нем ни одной части нельзя ни изменить, ни заменить. «Герой нашего времени» представляет собою несколько рамок, вложенных в одну большую раму, которая состоит в названии романа и единстве героя. Части этого романа расположены сообразно с внутреннею необходимостью; но как они суть только отдельные случаи из жизни хотя и одного и того же человека, то и могли бы быть заменены другими, ибо вместо приключения в крепости с Бэлою, или в Тамани, могли бы быть подобные же и в других местах, и с другими лицами, хотя при одном и том же герое. Но тем не менее основная мысль автора дает им единство, и общность их впечатления поразительна, не говоря уже о том, что «Бэла», «Максим Максимыч» и «Тамань», отдельно взятые, суть в высшей степени художественные произведения. И какие типические, какие дивно художественные лица — Бэлы, Азамата, Казбича, Максима Максимыча, девушки в Тамани! Какие поэтические подробности, какой на всем поэтический колорит!

Но «Княжна Мери», и как отдельно взятая повесть, менее всех других художественна. Из лиц один Грушницкий есть истинно художественное создание. Драгунский капитан бесподобен, хотя и является в тени, как лицо меньшей важности. Но всех слабее обрисованы лица женские, потому что на них-то особенно отразилась субъективность взгляда автора. Лицо Веры особенно неуловимо и неопределенно. Это скорее сатира на женщину, чем женщина. Только что начинаете вы ею заинтересовываться и очаровываться, как автор тотчас же и разрушает ваше участие и очарование какою-нибудь совершенно произвольною выходкою. Отношения ее к Печорину похожи на загадку. То она кажется вам женщиной глубокою, способною к безграничной любви и преданности, к геройскому самоотвержению; то видите в ней одну слабость, и больше ничего. Особенно ощутителен в ней недостаток женственной гордости и чувства своего женственного достоинства, которые не мешают женщине любить горячо и беззаветно, но которые едва ли когда допустят истинно глубокую женщину сносить тиранство любви. Она любит Печорина, а в другой раз выходит замуж, и еще за старика, следовательно, по расчету, по какому бы то ни было; изменив для Печорина одному мужу, изменяет и другому, и скорее по слабости, чем по увлечению чувства. Она обожает в Печорине его высшую природу, и в ее обожании есть что-то рабское. Вследствие всего этого она не возбуждает к себе сильного участия со стороны автора и, подобно тени, проскользает в его воображении. Княжна Мери изображена удачнее. Это девушка неглупая, но и не пустая. Ее направление несколько идеально, в детском смысле этого слова: ей мало любить человека, к которому влекло бы ее чувство, непременно

надо, чтобы он был несчастен и ходил в толстой и серой солдатской шинели. Печорину очень легко было обольстить ее: стоило только казаться непонятым и таинственным и быть дерзким. В ее направлении есть нечто общее с Грушницким, хотя она и несравненно выше его. Она допустила обмануть себя; но, когда увидела себя обманутою, она, как женщина, глубоко почувствовала свое оскорбление и пала его жертвою, безответною, безмолвно страдающею, но без унижения, — и сцена ее последнего свидания с Печориным возбуждает к ней сильное участие и обливает ее образ блеском поэзии. Но, несмотря на это, и в ней есть что-то как будто бы недосказанное, чему опять причиною то, что ее тяжбу с Печориным судило не третье лицо, каким бы должен был явиться автор.

Однако, при всем этом недостатке художественности, вся повесть насквозь проникнута поэзией, исполнена высочайшего интереса. Каждое слово в ней так глубоко знаменательно, самые парадоксы так поучительны, каждое положение так интересно, так живо обрисовано! Слог повести — то блеск молнии, то удар меча, то рассыпающийся по бархату жемчуг! Основная идея так близка сердцу всякого, кто мыслит и чувствует, что всякий из *таких*, как бы ни противоположно было его положение положениям, в ней представленным, увидит в ней исповедь собственного сердца.

В «Предисловии» к журналу Печорина автор, между прочим, говорит:

Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе. В моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он расска-

зывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света, но теперь я не могу взять на себя эту ответственность.

Благодарим автора за приятное обещание, но сомневаемся, чтоб он его выполнил: мы крепко убеждены, что он навсегда расстался с своим Печориным. В этом убеждении утверждает нас признание Гете, который говорит в своих записках, что, написав «Вертера», бывшего плодом тяжелого состояния его духа, он освободился от него и был так далек от героя своего романа, что ему смешно было видеть, как сходила от него с ума пылкая молодежь... Такова благородная природа поэта, собственною силою своею вырывается он из всякого момента ограниченности и летит к новым, живым явлениям мира, в полное славы творенье... Объектируя собственное страдание, он освобождается от него; переводя на поэтические звуки диссонансы духа своего, он снова входит в родную ему сферу вечной гармонии... Если же г. Лермонтов и выполнит свое обещание, то мы уверены, что он представит уже не старого и знакомого нам, о котором он уже все сказал, а совершенно нового Печорина, о котором еще можно много сказать. Может быть, он покажет его нам исправившимся, признавшим законы нравственности, но, верно, уж не в утешение, а в пущее огорчение моралистов: может быть, он заставит его признать разумность и блаженство жизни, но для того, чтобы увериться, что это не для него, что он много утратил сил в ужасной борьбе, ожесточился в ней и не может сделать разумность и блаженство своим достоянием... А может быть и то: он сделает его и причастником радостной жизни, торжествующим победителем

над злым гением жизни... Но то или другое, а во всяком случае искупление будет совершено через одну из тех женщин, существованию которых Печорин так упрямо не хотел верить, основываясь не на своем внутреннем созерцании, а на бедных опытах своей жизни... Так сделал и Пушкин с своим Онегиным: отвергнутая им женщина воскресила его из смертного усыпления для прекрасной жизни, но не для того, чтобы дать ему счастье, а для того, чтобы наказать его за неверие в таинство любви и жизни и в достоинство женщины...

### Примечания

Впервые — «Отечественные записки», 1840, т. X, № 6, отд. V; т. XI, № 7, отд. V.

# СОДЕРЖАНИЕ

*М. Лермонтов. ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ*

## ЧАСТЬ I

I. Бэла.....	7
II. Максим Максимыч.....	51

## Журнал Печорина

Предисловие.....	63
I. Тамань.....	64

## ЧАСТЬ II

*(Окончание журнала Печорина)*

II. Княжна Мери.....	79
III. Фаталист.....	174

*В. Белинский. ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.....* 187

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Литературно-художественное издание  
әдеби-көркемдік баспа

*Для среднего и старшего школьного возраста  
мектеп жасындағы ересек балаларға арналған*

КЛАССИКА В ШКОЛЕ

**Лермонтов Михаил Юрьевич**

**ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ**

(орыс тілінде)

Ответственный редактор *Н. Розман*  
Художественный редактор *Н. Ярусова*  
Технический редактор *Г. Романова*  
Компьютерная верстка *А. Щербакова*  
Корректор *И. Федорова*

**ООО «Издательство «Эксмо»**

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmp.ru](mailto:info@eksmp.ru).

Tauap belgisi: «Эксмо»

**Интернет-магазин** : [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

**Интернет-дуken** : [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талаптарды

қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: [RDC-Almaty@eksmo.kz](mailto:RDC-Almaty@eksmo.kz)

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта: [www.eksmo.ru/certification](http://www.eksmo.ru/certification)

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо» [www.eksmo.ru/certification](http://www.eksmo.ru/certification)

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 09.07.2018.

Формат 84x108<sup>1/32</sup>. Гарнитура «Школьная».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8.

Тираж 3000 экз. Заказ № 9124.



Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».  
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

[www.oaompr.kz](http://www.oaompr.kz), [www.oaompr.pdf](http://www.oaompr.pdf) тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685



# Михаил Лермонтов

## Герой нашего времени

Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной, средней школе и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включены роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», а также одноименная статья В. Г. Белинского, которые изучают в старших классах.

ISBN 978-5-699-72936-4



9 785699 729364 >

